

**ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИЛЫХ ДОМОВ,
ДАЧ, САДОВЫХ ДОМИКОВ**

● С 1 апреля 1988 года Госстрах предлагает новую форму обслуживания — добровольное комплексное страхование строений и домашнего имущества по единому страховому свидетельству.

По одному договору можно застраховать принадлежащие вам строения и домашнее имущество на случай повреждения или уничтожения в результате стихийных бедствий, пожара, а также других неблагоприятных событий, предусмотренных договором.

● Договор заключается сроком не 1 год, минимальная страховая сумма 5000 рублей, страховой платеж 35 копеек со 100 рублей страховой суммы.

● Страховое возмещение выплачивается в размере фактического ущерба, но не выше страховой суммы, независимо от того, причинен ли ущерб строениям или домашнему имуществу.

● Подробную информацию о проведении комплексного страхования строений и домашнего имущества, а также заключить договор можно в инспекции Госстраха или у страхового агента, обслуживающего вас по месту работы.

Госстрах РСФСР



ОГОНЁК

№ 33 1988



Георгий ЖЖЕНОВ

ОМЧАГСКАЯ ДОЛИНА

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

Георгий ЖЖЕНОВ

ОМЧАГСКАЯ ДОЛИНА

Москва. Издательство «Правда»
1988 г.

Георгий ЖЖЕНОВ

Георгий Степанович Жженов родился 22 марта 1915 года в Петрограде.

С 1930 года по 1932-й учился в Ленинградском эстрадно-цирковом техникуме. Параллельно работал в цирке акробатом.

С 1932 года по 1935-й учился в Ленинградском театральном училище, на отделении киноактера. Педагог — Герасимов Сергей Аполлинариевич. Одновременно с учебой снимался в кинофильмах: «Ошибка героя», «Наследный принц Республики», «Золотые Огни», «Комсомольск», «Чапаев».

В июле 1938 года Органами НКВД СССР был репрессирован как «враг народа»... Заочным постановлением ОСО НКВД СССР получил 5 лет.

По 1954 год сидел в тюрьмах, лагерях, ссылках... С перерывом в полтора года (1946—1947 гг.)

После смерти Сталина, в мае 1954 года, был дважды и полностью реабилитирован. Вернулся в Ленинград.

С 1954 г. работал актером в ленинградских театрах: Ленинградском областном драматическом театре и Театре им. Ленсовета.

В 1968 году переехал в Москву, в Театр им. Моссовета. В нем работает и по сей день.

В театрах сыграл более ста ролей. В кино — около ста. Лауреат Государственной премии РСФСР, лауреат премии им. Довженко, лауреат премии КГБ СССР.

Кавалер ордена Трудового Красного Знамени. Народный артист СССР.

ДЕТСТВО

Родился я в Петрограде на Большом проспекте Васильевского Острова в красном каменном здании родильного дома между 15-й и 16-й линиями, 22 марта 1915 года.

Себя в этом «прекрасном и яростном мире» начал помнить лет с четырех, по возвращении из деревни, куда, по рассказам матери, нас с братом Борисом увезли из холодного и голодного Петербурга в связи с революцией.

Мои родители — Мария Федоровна Щелкина и Жженов Степан Филиппович были родом из села Кесова Гора и деревни Демидово бывшей Тверской губернии. Кто из села, кто из деревни — не помню... Там крестьянствовали наши деды, бабки и прочие «сродственники». Вот туда-то на картошку, которой было еще достаточно в деревне, и отправляли нас — молодь — по мере того как мы, появившись на свет божий, выросли и уступали место у материнской груди следующему младенцу. А появлялись мы на свет с поразительной регулярностью, один за другим ровно через два года. Сергей — 1911 год, Борис — 1913 год, Егор (это я) — 1915 год, Надежда — 1917 год, Вера — 1919 год... Дальше производство Жженовых прекратилось то ли в связи с трудностями, рожденными двумя революциями, то ли в силу неведомых мне тогда биологических закономерностей. Да и сколько можно?! Кроме родных сестер и братьев, у меня уже имелись и сводные по отцу сестрички: Анастасия, Прасковья, Мария, Клавдия и Софья... Софья ушла из жизни рано. Ее место в этом мире занял я и надолго.

Первые самостоятельные впечатления, сохранившиеся в моей памяти, относятся ко времени возвращения из деревни в Петроград. Деревню не помню совершенно. Бабушка рассказывала, что часто «пек колобки»..., то есть часто забирался на теплую печку и подсушивал там штанишки, поскольку основной нашей пищей была картошка, и бегали мы всегда со вздутыми ослабевшими животами. В памяти, как в копилке, сохранились обрывки разных эпизодов того времени, часто не связанные между собой ни по времени, ни по смыслу.

...Серые булыжные мостовые улиц милого моему сердцу Васильевского Острова... Арочные подворотни домов с огромными каменными

тумбами по бокам — место ежевечерних сборищ молодежи. В нэповские годы здесь пели под гитару хулиганские есенинские песни, задирали прохожих, пили для куражу, дрались, лущили семечки, соревновались в ухарстве и доблести и мечтали о романтике моряцкой сотворгфлотской жизни...

Здесь, на Васильевском, прошли мое детство, моя юность! Здесь пролетели первые двадцать два года моей жизни...

В памяти остались даже запахи... Запахи огромного приморского города!.. Запахи набережных, кораблей, бульваров, осенних парков, рынков и весеннего талого снега... И совсем новый для меня, мальчишки, запах таинственного города... Скученного человеческого жилья. Запах сырых петроградских домов, запах кошек на затхлых черных лестницах... Парадные двери в квартиры после революции, как правило, были еще заколочены... Запах подвальной плесени и сырых дров... ну и, конечно же, сказочный запах чердаков, куда осторожные люди на случай внезапного обыска сносили после революции все, что могло как-то компрометировать их перед новой властью.

Чего только мы не обнаруживали там!.. Винтовки, шашки, гранаты, револьверы, ящики с патронами, пулеметные ленты, разрывные пули, штыки, гильзы... Подобно археологам, мы откапывали из-под балок чердачных перекрытий всевозможные царские ордена, медали, жетоны, связки фотографий и документов, орденские ленты, «керенки», цилиндры, корсеты, канотье и кивера, генеральские и офицерские мундиры, эполеты, погоны, аксельбанты и прочее, и прочее.

Весь этот «реквизит» старого мира появлялся потом в наших квартирах, наводя ужас на наших родителей, стреляя, «пшикая» и взрываясь в кухонных плитах, а частенько и вовсе разнося их вдребезги. Вслед за пальбой в квартире возникали, как в сказке, милиционеры и суровые дяди в кожанках. Нас, пацанов, сгоняли в одну комнату и поодиночке выдергивали на допрос с пристрастием... После капитуляции: «дяденька, прости, я больше никогда не буду», — конвоируемые милицией, мы вели суровых дядей на чердаки в наши боевые арсеналы и разоружались, выкладывая противнику все до последнего патрона... Но огорчались мы недолго, — находили другие клады, и начиналось все с начала... Опасные игры закончились лишь тогда, когда петроградские чердаки и подвалы были очищены от «наследия прошлого» окончательно.

Моя сестра Ната, которой в ту пору было уже лет двадцать, только что стала учительницей. Ее характер, по-моему, вполне соответствовал этому призванию. Она была строга, энергична, требовательна... Любила порядок и ясность. Обожала подчинять и воспитывать. Поэтому на правах старшей из сестер и взялась за нас, мальчишек. С первых же дней по возвращении из деревни нам, Сергею, Борису и мне, предлагалось жить по ее сценарию.

Уходить из дома без разрешения — нельзя! Опаздывать к обеду — нельзя! Заводить случайные уличные знакомства, а также кататься

на трамвайной «колбасе» — строго запрещено. Лазать через заборы — тем более!.. Словом, предлагалось вести себя прилично, как подобает воспитанным петроградским мальчикам. С этой целью моя благонамеренная сестра вывела меня однажды во двор нашего дома и представила двум соседским детям — Русику и Ириночке — чистеньким, ухоженным, воспитанным пай-детям — сыну и дочери жившего в доме музыканта — скрипача Грибена.

Меня заставили взять моих новых знакомых за руки, и таким образом наша дружба была скреплена навеки. Так по крайней мере думала моя умная, но наивная сестра. Откуда ей было знать, что этим церемониалом знакомства и закончилась навсегда дружба с Русиком и Ириночкой. Как говорится, сердцу не прикажешь! Через пять минут после ухода сестры я уже бегал по улице с сыном нашего дворника Хайруллой, с которым мы и не расставались все двадцать два года моей жизни в этом доме...

Васильевский Остров был изрядно заселен немцами еще с петровских времен.

Жили мы на углу Первой линии и Большого проспекта в доме, где помещалась немецкая кирха. В нишах на фасадной стене кирхи стояли во весь рост две гипсовые фигуры святых: святой Петр и святой Павел. В руках одного была книга, в руках другого — ключ.

Святому Петру не везло: мы без конца висли на нем и обламывали ключ. С немецкой пунктуальностью ключ восстанавливался, но мы снова его обламывали с не меньшей пунктуальностью... В конце концов в этом соревновании религии с молодостью победили мы.

Будучи недавно в Ленинграде на улице моего детства, я был приятно удивлен, увидев в руке у апостола вместо ключа все тот же жалкий конец железной арматуры.

Мои родители никогда не жили в согласии, по крайней мере на моей памяти. Причин этому было достаточно. К моменту женитьбы на моей матери отец был уже вдовцом. От первого брака у него осталось пять ребятшек — «мал мала меньше», как говорила моя мать.

Мальчишкой приехав в Петербург, отец поступил в услужение к своему земляку — булочнику, владельцу пекарни. Он бегал с утра до вечера по Васильевскому Острову с огромной корзиной, разнося булки по адресам постоянных клиентов, и успевал вечером помогать хозяину в пекарне, мечтая когда-нибудь открыть собственное дело и стать хозяином, выбиться в люди. В «люди» он в конце концов выбился. Залез в неоплатные долги, но выбился — стал хозяином. Вскоре женился, жену взял из деревни. Пошли дети. Регулярно через год и все девочки. Жизнь осложнялась. Заботы прибавлялись с каждым днем, с каждым следующим ребенком... Стал попивать. Сначала изредка — счет деньгам знал, особенно когда был трезв — помнил, что в долгах; после смерти жены стал пить регулярно, запоем, — правда, запои были еще редки, — держался, старался держаться.

Таким его впервые и увидела моя мать, когда отец привез в деревню, после похорон жены, весь свой выводок неужоженных, золотушных сирот, за которыми в городе теперь уже некому было ухаживать, некому приглядеть. Конечно, только щемящее чувство сострадания и жалости могло толкнуть крестьянскую девчонку на брак с вдовцом, да еще с «приплодом» пятерых сопливых ребятишек. Легко ли решиться на такое в семнадцать лет! В семнадцать лет, когда человек сам еще, по существу, ребенок и жизнь ему представляется не иначе как в розовом свете.

Говорят: добрые люди мягкосердечны, слабохарактерны... Моя мать не была такой. Наоборот, она скорее производила впечатление строгой, властной. Сентиментальность была ей несвойственна от природы...

Родившись в деревне, мать с малолетства узнала и любила труд. У нее были хорошая голова, трезвый, крестьянский ум. Недостаток образования (два класса сельской школы) с лихвой восполнялся природной одаренностью, — мать была талантливым человеком!.. Умела разбираться в людях. Редко в них ошибалась. Трудолюбие в человеке уважала, ценила превыше всего остального... Весь мир делила на «путевых» и «непутевых». Непутевыми называла бездельников и пьяниц. К ним была подчас даже жестока.

Путевые люди — это прежде всего работающие люди, труженики! Мать любила это слово и часто повторяла его. Для них не скупилась ничем — отдавала, как говорится, последнее... Не ждала, когда к ней обратиться за помощью, — всегда первой предлагала себя, все свои возможности и силы. Все семьдесят восемь лет своей жизни мать не жила для себя, а всегда жила для людей, считая это чуть ли не единственным смыслом своей жизни.

«Все, кто знал тебя или слышал о тебе, вечно помнят и благословляют твое мудрое, доброе сердце, — не добренькое, а именно доброе сердце, всегда отзывчиво распахнутое навстречу каждому «путевому»... Твое щедрое сердце, в конце концов растерзанное людской глупостью и жестокостью.

Вечная тебе память, моя прекрасная Мама!»

Нелады между моими будущими родителями начались вскоре после свадьбы, когда отец со своим выводком и новой молодой женой возвратился из деревни в город. Он решил, что свою семейную проблему он разрешил полностью, приобретя в лице молодой одновременно и жену, и мать, а вернее, мачеху для своих пятерых сирот. Все это живое, голенастое «хозяйство» отец с облегчением и удовольствием взвалил на плечи суженой и умыл руки, — занялся своими пекарскими делами.

Жил он тогда на Васильевском Острове, в гавани, в доме, где помещалась и его пекарня, то ли над ней, то ли под ней... Жили без столичных излишеств, по-деревенски: стол, лавки, несколько табуреток, нехитрый посудный ларь с глиняным и стеклянным скарбом, да образа в пе-

реднем углу — вот и вся мебель!.. И, как водится, полати от стены до стены, вместо кроватей. На них, как на деревенской печи, как в норе или в гнезде — спали, ели, играли, ссорились и мирились, подрастали помаленьку все мы, — многочисленное семейство Жженовых.

Отец был прижимист, берег каждую копейку — копил. На нужды семьи не обращал никакого внимания — живы, и ладно!

Обедали по старинке: ели из одной общей чашки деревянными ложками, по кругу, начиная с отца и дальше, по часовой стрелке. Надо сказать, что такой порядок в нашей семье просуществовал довольно долго, — уже на моем веку традиция эта еще сохранялась. Хорошо помню, как во время одной такой семейной трапезы я сунулся в общую чашку вне очереди. Отец замахнулся на меня, я увернулся от удара, а мой брат Борис, сидевший рядом, получил вместо меня ложкой в лоб и оказался на полу под образами. Отец держал всех в черном теле. Над первой своей женой имел власть неограниченную. Ни перед кем в своих действиях не отчитывался. Был беспрекословен. Между запоями бывал хмур и молчалив. И, наоборот, в запое громок, болтлив, буен и задирист — его боялись. Боялись все, кроме моей матери. Поначалу мать молча присматривалась к своей новой жизни. Терпеливо наблюдала, соображала, с чего ей лучше начать, как поумнее разобраться в этом дремучем житье-бытье... Постепенно в доме стали чувствоваться ее характер, ее воля. Начались преобразования. Вместо нар появились кровати. Правда, еще не по числу душ, но все же... Старшие наконец-то обзавелись «плацкартой». Малышня умещалась по двое, по трое на кровати. Пришлось отцу раскошелиться и на одежду — куда не денешься — у старших девочек подошел школьный возраст. Им покупали новое — младшие донашивали со старших — так и жили...

Отец все еще мечтал разбогатеть. Мечтал стать купцом, хоть какой-нибудь гильдии!

Мать растила отцовых девочек и рожала собственных мальчиков. Семейство увеличивалось и увеличивалось... Первые годы, пока доходы еще балансировались с расходами, отец мирился с этим, тянул лямку, терпел... Но вот в доме появилась нужда. А нужда для русского человека первая причина для запоя.

Отец пил лихо, без удержу. Пил месяца по три — гулял во всю силу своего здоровья! Никаких друзей, никаких собутыльников — пил один... под огурец. На конторке, рядом с его кроватью, стояла тарелка с соевым огурцом — единственная закуска на все три месяца запоя. Отец не закусывал, а «засасывал» — огурец, как неразменный рубль, месяцами оставался целехонек.

Все благоприобретенное и накопленное между запоями спускалось. Пропивалось и движимое, и недвижимое... В доме появлялись экзотические типы с мешками, из тех, что ходили по дворам и кричали: «Ха-ла-ат... хала-ат!»... «Ко-остей — тря-я-пок, буты-лок — ба-а-нок!»

В мешках предприимчивых потомков Мамаея исчезали со стен нашей квартиры всякие «излишества», все, что могло быть унесено и продано.

Кульминация этого житейского спектакля наступала, когда со стены снимали часы — из дома уносили время!..

Если эта акция проходила в отсутствие матери, то на этом спектакль и заканчивался. После короткого торга и расчета сторон «янычары» удалялись вместе с добычей восояси, удовлетворенно бормоча восточными голосами какие-то нерусские слова... Но бывало и так, что в самый критический момент в доме вдруг появлялась рассерженная мать. Обстановка менялась мгновенно. Мать хватала первое, что попадало под руку — швабру, метлу или просто обыкновенную палку, и гнала взашей все это басурманское воинство. Больше всех попадало отцу, хотя он в пьяной ярости и кидался на мать с кулаками, защищая свое мужское право распоряжаться имуществом, как ему вздумается.

Мы, мальчишки, конечно, держали сторону матери. Но оказать отцу сколько-нибудь серьезное сопротивление мы не могли по возрасту.

В конце концов пришло время, когда и отец понял, что мать уже не одна, что мы подросли и встали на ее защиту решительно. Связываться и с нами стало опасно и чревато неприятностями для него самого.

Однажды, предупреждая очередной скандал, я сказал ему: «Не лезь к матери — худо будет». Обозлившись на меня, отец замахнулся, но я успел присесть, и рука его, разбив стекло двери, у которой мы находились, по самое плечо оказалась в другой комнате, изрядно кровоточащая. «Я предупредил тебя», — сказал я удовлетворенно.

Другой случай, после которого отец навсегда прекратил драки с матерью. Во время очередного запоя, когда он буйствовал и кидался на всех, мать, защищаясь, швырнула в него фаянсовым заварным чайником и рассекла вену на виске. Отец в ярости кинулся на мать и, наверно, убил бы ее, не окажись мы рядом. Оттащив от матери, мы уложили его на кровать и, так как он продолжал буйствовать, привязали к кровати за руки и за ноги, дав возможность матери безбоязненно промыть рану и остановить кровь. «Выросли змееныши, матку защищаете...», — говорил его взгляд, когда, затихнув, он ошалело глядел на нас с кровати.

Конец запоя всегда был одинаков. Весь день отец не появлялся из своей комнаты, — его бил озноб, лихорадка, его тряс «колотун». Ни есть, ни пить он не мог, так организм его был отравлен. Жутко и жалко было смотреть на отца в этот момент.

Несколько дней продолжались мучения, пока, наконец, в одно прекрасное утро он не появлялся на пороге комнаты преобразенный, как раскаявшийся грешник, с узелком чистого белья под мышкой — он шел в баню. А вечером — чистый, умиротворенный, тощий до прозрачности сидел под лампочкой за своей конторкой в комнате перед раскрытой на первой странице, огромной толстой книгой. Книга называлась: «Трезвая Жизнь». Дореволюционное, общедоступное, выпускаемое для простого

люда издание, распространяемое обществом трезвенников среди низших слоев общества с воспитательной, благотворительной целью.

Весь промежуток времени между запоями отец читал эту толстую книгу. По количеству непрочитанных страниц мы, как по календарю, всегда знали, далеко ли до следующего запоя. Как только дочитывалась последняя страница, книга захлопывалась, и все начиналось сначала... И так всю жизнь! До самого моего ареста в 1938 году я помню эту книгу в нашем доме.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Мне пятнадцать лет. Уже пятнадцать. Оканчиваю седьмой класс 204-й ленинградской средней школы. Школа наша находилась на Университетской набережной Васильевского Острова, в одном из флигелей университета, между основным его зданием и зданием филологического факультета. Чтобы перейти в следующий класс (восьмой), мне необходимо было ликвидировать хвосты по физике и математике. А это не просто, если учесть, что школа наша была с физико-математическим уклоном и уровень требовательности к ученикам соответствовал ее местонахождению. В довершение всего физика и математика являлись теми предметами, которые давно и безнадежно мною были запущены. За прошедший учебный год я не часто одаривал своим посещением эти уроки и, естественно, отстал. Появилась задолженность, родился хвост. Хвосты имеют тенденцию расти, увеличиваться... Ведь как это обычно происходит: сначала не готовился и пропускал уроки бездумно, — ладно, мол, ничего страшного, в следующий раз догоню, выучу. Не догнал, не выучил... Не выучил раз, не выучил два. А дальше стал избегать уроки уже сознательно — стыдно было обнаруживать свою несостоятельность перед товарищами.

К тому же уже тогда я был влюблен в одноклассницу Люсю Лычеву, большеглазую девочку, ради внимания которой совершал массу геройских поступков чуть ли не с первых классов школы, а именно: ...Прыгал с парашюта Невской набережной в ледяную воду в начале мая, открывая сезон купания в Ленинграде... ...Дрался с «друзьями-соперниками», отстаивая единоличное право сопровождать на каток и с катка голубоглазую ингерманландку... ...Выделывал рискованные фортели на уроках физкультуры и на переменах в школьном дворе, стараясь показаться своей королевне эдаким рыцарем — сильным, смелым, ловким, благородным, умным...

Я, скорее, готов был поставить точку на своем общем образовании и уйти из школы, нежели дать своей любимой повод разочароваться во мне.

Словом, весной 1930 года настроение мое было унылым и подавленным. И даже буйная радость, всегда возникавшая во мне с прихо-

дом очередной весны, наполняя всего меня телячьим восторгом, не могла отвлечь от впервые заданного самому себе вопроса: как быть дальше?

Раньше подобные моменты растерянности легко разрешали взрослые. Мать в таких случаях говорила: «Успокойся, сынок, все пройдет, все рассосется!»

И вот наступил день, когда ты впервые понял, что ничего не рассасывается, ничего не проходит само по себе; как утихшая зубная боль не освобождает от неизбежного визита к врачу, так и вставший перед тобой однажды вопрос, что делать, рано или поздно потребует обязательного ответа. И никуда от этого не денешься! Вопрос не рассосется, не исчезнет... Скорее наоборот, — будет зреть, множиться и в конце концов превратится в проблему, требующую немедленного вмешательства. И когда этот момент наступит, тебе станет ясно, что детство кончилось, улетело безвозвратно...

«...Игрушкой с перекрученным заводом
Спит наше детство где-то на полу!»

И как всякий конец есть начало чего-то нового, так и в моей жизни весна 1930 года знаменовала для меня приход следующей поры жизни, отрочества.

Бездумный, веселый, беззаботный этап моего жизненного марафона позади!.. Из школы я ушел, а что дальше?..

Впереди маячили горы.

А ведь совсем еще недавно в голубых небесах моего детства не было ни облачка. Учился помаленьку. Школьными науками себя не утруждал особенно. Для ума и сердца существовали куда более интересные занятия — улица!.. Олимпийский стадион моего детства!

Неизведанный, фантастический, влекущий мир! Звонкоголосое царство босоногой ребятни!

...«Казаки-разбойники», «лапта», «чижик», «фантики», «вышибаловка» и многие, многие другие упоительные игры раннего школьного детства...

Улица — особый мир, начинавшийся сразу же за стенами родительского дома. Это набережные Невы, сады, переулки, рынки, вокзалы, пригороды, взморье и прочие места, где мы носились с утра до вечера, появляясь дома с одной-единственной целью поесть, да и то на минутку.

Двери в квартиру до самой ночи не запирались. Режимы никакого.

Каждый мог есть, что хотел, как хотел и когда хотел. Для этой цели между наружными дверьми в квартиру всегда ставилась огромная кастрюля щей, свежих или кислых. Чаще кислых (от времени они только хорошели). Щи варились сразу на неделю.

На уровне пола между дверьми стояла плетеная корзинка с сырыми яйцами, щедро пересыпанными конопляной шелухой для сохранности. Чем меньше в корзине оставалось яиц, тем дольше приходилось искать их и вылавливать, пропуская шелуху сквозь пальцы, как воду.

Матери было недосуг заниматься обедами. Она была добытчицей. Домашними делами занималась разве что в единственный свободный свой день — воскресенье. Все остальные дни недели мать вынуждена была сидеть на Андреевском рынке, у своих горшков и посуды, дожидаясь покупателей. Поражаюсь, как ее хватало на всех нас!!.

Одних малолетних иждивенцев набиралось за обеденным столом в воскресенье не меньше дюжины, не считая самих родителей и прочей родни, двоюродной и троюродной...

У матери была врожденная слабость опекать своих земляков. Она половину деревни, наверно, перетаскала за свою жизнь в Ленинград. И всех их надо было устроить, приглубить, накормить...

Заботы ее не кончались одним нашим пропитанием. Одежда буквально горела на нас. Особенно не напаслись было штанов и обуви.

Любимая игра моей жизни — футбол — чего ей стоила! За месяц-полтора самые прочные башмаки превращались в «воспоминание»... Где только мы не гоняли мячи?! На булыжных мостовых улиц (автомобили тогда были редки), в каменных колодцах ленинградских дворов, на бульварах и скверах, в садах, везде... где только можно и нельзя. В те далекие годы везде еще было можно!..

Мячи были разные: дорогие сине-красные с полоской и детские резиновые. Иногда найденные в крапиве за забором футбольного поля настоящие мячи, потерянные взрослыми или «зачащенные» у них... Но, как правило, творили мячи сами, из конского волоса и тряпок, завернутых в старые дамские чулки... «Кикали» и просто консервной банкой или деревяшкой, попавшей под ногу... Такие испытания на прочность под силу разве что водолазным башмакам.

Обычный маршрут от дома до школы чего только стоил матери! Кратчайший путь через заборы и ограды Менделеевского ботанического сада таил в себе не только выгоды, но и опасности; часто кончался «ранениями» в задницу, солеными зарядами из берданок университетских сторожей, бдительно охранявших яблони для науки. По клочкам наших штанов на пиках чугунных оград и проволочных заграждений заборов можно было судить не только о поспешности, но и о маршруте нашего бегства.

Осенью 1923-го мы, родившиеся в первую мировую войну, брали на «абордаж» начальные классы петроградских школ, насмерть перепугав добропорядочных и чинных учителей, доставшихся нам в наследство от царских времен. Хотя «доброе царское время» и ушло в небытие, рухнуло, но школы по инерции еще продолжали жить старым академическим укладом... по старым школьным программам. Новое только-только рождалось... Страна жила на перепутье времени!

Кончились гражданская война, военный коммунизм — начался нэп! Полуголодные, полураздетые, мы, — надежда и опора молодой Советской власти, сели за школьные парты. На нас рассчитывали в буду-

щем, как на первое поколение советской интеллигенции. Через 15—20 лет мы должны будем встать у руля жизни!

Честно говоря, тогда мы не сознавали важности своей грядущей исторической миссии и не шибко чтили своих старорежимных учителей, смотревших на нас, детей улиц, с недоумением и растерянностью (вечная и добрая им память). Я не баловал усердием добронравных учителей. В прилежных учениках себя не помню. Усидчивостью и рвением не отличался. Выше «удовлетворительно» по поведению не заслуживал никогда, но из класса в класс переходил легко, в числе первых. Правда, —самым первым так никогда и не стал, всегда хотел, но... Скорее всего, не хватало сосредоточенности на чем-то одном, главном — жаден был до всего сразу!

Не хватало честолюбия! А оно, видно, необходимо человеку, поскольку делает его более энергичным в достижении цели, поставленной перед собой.

Разумеется, я не имею в виду гипертрофированное честолюбие, из которого вырастают страшные люди — карьеристы и демагоги! Люди-уроды, выродки, для которых все средства хороши, лишь бы они вели к удовлетворению собственных амбиций и притязаний.

Монстры, без малейших нравственных тормозов и оглядок, готовые играть судьбами и жизнями честных людей, в услужение собственному тщеславию сметающие всех, кто оказался на их пути к власти! Подонки.

На рубеже своих семидесяти, прокручивая в памяти прожитое, прихожу к грустной мысли, что любителей пожить «сладко», за счет ближнего, к сожалению, не убавилось и сейчас. Скорее, наоборот: потребитель в нашей жизни развелось, как поганок в лесу!

История последних десятилетий не очень-то мягко обошлась с русским человеком (впрочем, не только с русским). Социальные проблемы посленэповского периода, коллективизация, первые годы пятилеток — это время не назовешь легким! Тридцатые годы... В результате пресловутого «культа» и прочих экспериментов не худшая часть русских, советских граждан, исчезла безвозвратно в таежных топях Сибири и Дальнего Востока, «осваивая окраинные рубежи Родины»...

Отечественная война унесла молодых, лучших... На войне всегда погибают лучшие — цвет нации! Все это так, но... Вроде и война уже далеко позади, и жить стало полегче, а ведь на, поди-ж ты?!

Сложное существо человек! Всего в нем понамешано вдоволь и безобразного, и прекрасного! Наверно, все дело в «почве», в которой находится «человек». Она способна вырастить и ангела, и черта! За ней внимательно наблюдать надо, полоть сорняки, удобрять вовремя, подкармливать, избавляться от вредителей, — глядишь «урожай» и отблагодарить не замедлит — вырастет ЧЕЛОВЕК!

«Бытие определяет сознание» — никуда от этой истины не денешься! Что посеешь, то и пожнешь!

Один умный человек правильно сказал: если человека поставить на четвереньки и долго держать, он в конце концов захрюкает.

Школьные уроки хорошо делаются в ненастье. Кто же усидит за столом с книгой, когда на небе светит солнышко?!

Моя дочь Юля по этому поводу высказалась так:

Голова уж вконец захламлена
Смесью формул, циклов, цитат.
Ох, уж эти весной мне экзамены!
Хоть бы кто-нибудь был им рад!

Я сижу и мечтаю: вот если бы...
От дождя посерели стены...
Тут бы кстати пришлась и сессия,
Я открыла б учебник толстенный,
Иззубрила бы все до донышка,
Но ведь солнышко...

Так что и мое интеллектуальное и духовное развитие находилось в прямой зависимости от погоды. Неустойчивый ленинградский климат лишь благоприятствовал постижению наук. Наверное, поэтому коренных ленинградцев и отличали от всех прочих прежде всего высокая культура и образованность. Настоящего ленинградца всегда и всюду узнавали с первого взгляда.

В послевоенное время, к сожалению, климат во всем мире сделался неустойчивым, и свое преимущество ленинградцы (увы!) постепенно утратили. Теперь их уже не отличишь от всех прочих горожан России.

Ненастье способствовало также и привычке к чтению. А первое приобщение к искусству, к зрелищам: цирк, театр, кино, — конечно же, произошло если и не в плохую погоду, то, уж, во всяком случае, не днем, а вечером...

Недаром говорят: кино дело темное!

Не только темное, но и тихое — «Великий Немой» еще не заговорил. Это чудо произойдет чуть позже, через несколько лет.

Пока еще Мустафа не получил свою «путевку в жизнь!»...

Я не помню первых своих впечатлений от кинематографа, но что это произошло в кинотеатре «Яр», убежден абсолютно.

«Яр» — Мекка наших кинематографических странствий!

Зажатый между двумя жилыми домами на 7-й линии Васильевско-го Острова, между Большим и Средним проспектами, он находился рядом с кинотеатром «Форум», через бульвар от Андреевской церкви, — куда водили нас по престольным праздникам наши родители, скорее в силу традиции, нежели по убеждению.

«Форум» был нам не по карману, и мы его презирали. Тем более что детей не всегда пускали в него даже с билетами.

Мы, василеостровские пацаны, любили «Яр»! С курчавым тапером за плохоньким пианино, с длинным, как кишка, залом человек на двести, без всякого фойе, с кассой, выпирающей на тротуар улицы. В ней восседала громадная, как комод, раскрашенная нэпманша Рая, жена хозяина. Звали хозяина Исай Матвеевич, по прозвищу Мотя.

Мотя не пекся о нашей целомудренности как в «Форуме» и пускал к себе в «Яр» в любое время и на любую картину почти бесплатно. Делал он это виртуозно!.. Разжимал наши потные кулаки с зажатой в них мелочью и вытряхивал все в кассу, не интересуясь количеством. Накопив жаждущих достаточно, он открывал дверь в зрительный зал и быстро загонял всех в темноту, предоставляя право самим искать себе место.

Обычно сеанс начинался с видовой картины, по-теперешнему с научно-популярной или хроникальной. Затем шла короткометражка, — чаще всего это была веселая комическая лента.

В этот момент Мотя и ухитрялся запускать в зал следующую порцию. Он был хороший психолог: когда зрители смеются, их меньше раздражают опоздавшие...

Кончалась короткометражка, на время зажигался тусклый свет, в зал вваливалась последняя порция опоздавших — и пацанов, и взрослых, свет медленно угасал и начиналось, наконец, самое главное...

Зрелище, ради которого мы готовы были забыть все на свете, даже футбол!..

Готовы были бесконечно сидеть на грязном полу в проходе набитого до отказа тесного зала частной «киношки», заплеванные семечками, потные, с судорожным от спертости воздуха дыханием, как у выброшенной на берег рыбы, замороженно, с открытыми ртами глядя на четырехугольник белой простыни на стене, волшебным образом уносившей нас в экзотические страны...

В пульсирующем луче Великого Немого на экране возникали картины манящих к себе таинственных миров, населенных красивыми женщинами, мужественными, сильными и великодушными мужчинами, не щадившими своих жизней во имя справедливости, добра и любви...

В те благословенные времена зло еще всегда наказывалось, даже в заграничных фильмах. Тогда это еще было законом искусства!

Это уже далеко потом, в послевоенные десятилетия, мировой кинематограф делается чем-то вроде справочника-путеводителя «сладкой жизни» — учебного пособия по ограблениям и убийствам.

Сколько юнцов, соблазненных изощренной пропагандой человеконенавистничества, закамуфлированного под добродетель, сыплющегося как из рога изобилия с экранов мира на голосы и души обывателей, примут «философию» летящего в пропасть безумного мира!..

Все эти соблазнительные киноужасы не пройдут человечеству даром — аукнутся по всему миру!.. Да еще как!..

Послевоенный мир, как проказой, оказался пораженным насилием и жестокостью! Порнографией, сексом, наркоманией!..

И надо честно признаться, что наряду с социальными причинами несправедливой устроенности мира не последнюю роль в этом, к сожалению, сыграл и кинематограф, со своей грандиозной силой воздействия на человека, и на молодежь особенно.

Ведь далеко не случайно многие преступники, бравидуя перед следователями своими «художествами», ссылаются на кинематограф как на пример, как на первого учителя по технике совершения преступления!

Не следует забывать, что часто подобная кинопродукция создается действительно талантливыми, одаренными в искусстве кинохудожниками. Отсюда степень пагубного влияния на умы и души удесатеряется!

И по меньшей мере «страусовой» позицией являлось утверждение некоторых наших маститых социологов, что нас, Советский Союз, это не касается!.. Дескать, это проблема «гнилого Запада», Америки!.. Такая точка зрения является чистойшей демагогией, если не преступлением перед страной!.. Касается, да еще как! Так же, как малейшее колебание курса валюты на мировой бирже немедленно вызывает изменение финансовой «погоды» во всем мире (и социалистическом в том числе), так и власть мирового кинематографа безгранична!

Всякие разговоры относительно обособленности социалистического киноискусства — демагогия! Никакие расстояния в наш космический век, никакой «железный занавес» не спасут! Все в мире взаимосвязано.

...Кончается очередной сеанс.

Зрители умиротворенно покидают «киношку», оставляя возле своих мест на полу память о себе — тучи подсолнечной шелухи...

Все двадцатые годы процветала мода на семечки. Их щелкали все, и стар и млад! С восхода солнца и до захода!.. Везде: дома, на работе, на бульварах и в трамваях... Обязательно — в местах массовых гуляний, на площадях и, конечно, в театрах и кинематографах...

Шелестящий шум подсолнечного прибоа, подобно «Девятому валу» Айвазовского, носился по Василеостровским проспектам, оседая в порывах холодного балтийского ветра серым хрустящим ковром под ногами на истоптанной зелени бульваров и под стенами домов...

На каждом углу улицы, особенно у входа в кинематограф (тогда не говорили кинотеатр), стаи торговков семечками бойко ссыпали в подставленные, оттопыренные карманы идущих в кино и из кино покупателей стаканы жареного зелья.

Васильевский Остров — далекий мир детства!.. Малая Родина моя!

Окончив семь классов средней школы, я решил, что хватит в моей жизни наук, пора заниматься делом. Лет мне было всего только пятнадцать, поэтому, «одолжив» документы у старшего брата Бориса, я кинулся поступать учиться на веселых, ловких, сильных, смелых «сверхчеловеков», живущих в фантастическом мире цирка!

Какой мальчишка не бредит цирком! Не летает во сне, как птица, под куполом, не крутит немыслимые салты-мортале в залитом электрическим светом сверкающем, манящем кольце циркового манежа!..

Осенью 1930 года Ленинградский эстрадно-цирковой техникум пополнился еще одним студентом — Борисом Жженовым. Я был принят на акробатическое отделение.

Из Бориса снова превратиться в Георгия не составило труда, мне этот «фокус» простили.

Уже через год вместе со своим одноклассником Жоржем Смирновым мы срепетировали каскадный эксцентрический номер — «китайский стол» и начали выступать в Ленинградском цирке «Шапито», как «2-ЖОРЖ-2», в жанре каскадной акробатики.

В цирке меня и «подсмотрели» киношники. Пригласили на киностудию «Ленфильм». Предложили сниматься в главной роли тракториста Пашки Ветрова в фильме «Ошибка героя».

На кинопробу взята была сцена объяснения в любви, с объятиями и поцелуями...

Мне не было еще и семнадцати лет, паренек я был целомудренный, застенчивый, любовного опыта не имел никакого, стеснялся и краснел ужасно. Дрожали руки и ноги, прыгали мышцы на лице... Не то что поцеловать — мне было стыдно взглянуть в глаза своей партнерше... вернее, партнершам. Так как в этот день на единственную женскую роль в фильме пробовалась не одна, а семь молодых и очень красивых, как мне тогда казалось, девушек. Семь молодых актрис!

С одной стороны, это еще больше усугубило мои страдания, с другой стороны, и облегчило: с каждой следующей партнершей я становился увереннее, свободнее, постепенно входил во вкус сцены, впервые познав живую прелесть долгих поцелуев, хотя и исполняемых публично, на людях, вроде бы понарошку, но настоящих до головокружения (кино прежде всего во всем любит достоверность).

Ко мне постепенно возвращалась нормальная пластика. Из манекена, деревянного робота я снова становился живым человеком.

К концу съемки, обнимаясь с шестой-седьмой кандидаткой в невесты, я освоился настолько, что спроси меня, с кем из них мне было особенно приятно играть, я, кажется, смог бы ответить!

Через несколько дней позвали посмотреть первые в моей жизни кинопробы. Увидев самого себя на экране, я пришел в такой ужас, что, не дождавшись конца показа, тихо, пока никто не видел, в темноте исчез из зрительного зала и убежал со стыда из студии. Я так расстроился, что несколько суток не показывался даже домой...

Позже выяснилось: меня искали.

Когда я явился домой, мать, стиравшая белье, подняла голову от корыта и, убедившись, что со мной ничего не случилось, сказала:

— Явился!.. За тобой приходили с «Ленфильма». Они утвердили тебя на что-то. Поздравляли меня. В общем, я ничего толком не поняла.

Так неожиданно для себя из циркового акробата я превратился в киноартиста. Но сила первого впечатления от самого себя жива! Прошло пятьдесят с лишним лет, а ощущение, похожее на стыд, продолжаю испытывать и теперь, когда вижу сам себя на экране.

Никаких особенных дивидендов фильм «Ошибка героя» не принес советскому кинематографу, разве что явился моим дебютом. И дебютом еще одного артиста — прекрасного артиста Ефима Копеляна.

Снимал фильм режиссер Эдуард Иогансон.

С этого фильма и началась моя бескорыстная любовь к кинематографу, продолжающаяся с некоторой взаимностью уже около шести десятков лет! И тысячу раз правы кинематографисты, говоря: «Кто однажды в жизни понюхал запах ацетона (запах пленки), тот никогда уже от этого запаха не отделается». Всей своей жизнью свидетельствую, что это так! Во всяком случае, всегда, когда право и возможность выбирать профессию принадлежали мне, а не обстоятельствам, я возвращался в кинематограф.

Так впервые я поступил и тогда, в 1932 году, когда оставил после фильма цирк и поступил учиться на киноактерское отделение Ленинградского театрального училища к педагогу, ныне всемирно известному кинорежиссеру Сергею Аполлинариевичу Герасимову.

Ядреный запах манежа, запах здоровья я, не раздумывая, променял на запах ацетона!

А нежные чувства к цирку — при мне. Храню их всю жизнь, как первую любовь!.. Как юношескую романтическую попытку приобщения к прекрасному миру искусства.

АРЕСТ

Впервые в жизни я испытал настоящий страх ночью с 4 на 5 июля 1938 года.

В эту трагическую для меня ночь, возвращаясь домой, я увидел в створе открытой входной двери в мою квартиру дремлющего на сундуке под зеркалом нашего управдома рядышком с моей женой. Когда я, еще ничего не понимая, прикрыл за собой дверь, в поле моего зрения оказались еще двое: красноармеец с винтовкой и командир в форме НКВД. Оба вымокшие до нитки, у обоих под ногами по луже воды: на дворе гроыхала гроза. У командира в руке были свернутые трубочкой какие-то бумаги.

Управдом, кивнув на меня, сказал:

— Он.

— Фамилия? — спросил командир.

— Жженов.

— Имя?

— Георгий.

— Отчество?

— Степанович.

— Год рождения?

— 1915-й.

Командир сверил ответы с данными в бумаге.

— Разрешите пройти в комнату. Вот ордер на обыск.

Он протянул мне бумагу, которую все время старался не замочить.

Моя реакция на пережитый страх была совершенно неожиданной: я уснул. Буквально, как только начался обыск, я прилег на кровать и уснул... Вырубился, отключился, как отключаются предохранители в электросети, когда напряжение становится угрожающим и неизбежны замыкание, катастрофа.

Как все-таки удивительно и сложно создан человек!

Проснулся я, когда уже брезжил рассвет. Жена тихонько трогала меня за плечо и говорила: «Вставай, переоденься...» Обыск закончился.

— Подпишите акт, — сказал командир и добавил: — Вам придется поехать с нами.

— А ордер на арест у вас есть? — спросила жена.

— Конечно, а как же! — Командир раскрутил трубочку и вытащил еще одну казенную бумагу. — Пожалуйста!

Надо отдать должное: все формальности, связанные с обыском и арестом, были соблюдены. Все шло хорошо, тихо. Казенных бумаг хватало. Все, что следовало подписать, было подписано. Арестант проснулся и молчит — опять-таки хорошо. Вообще все хорошо! Вот разве только сам командир не знал, что же он искал всю эту ночь... Но это уже, как говорится, разговор другой. Важно, что приказ начальства выполнен «как положено». Ночь, слава богу, тоже прошла, уже утро — конец работе, прекрасно! Не придется ехать по следующему адресу.

Перед самым уходом на вопрос жены, надо ли мне что-нибудь взять с собой, командир ответил:

— Зачем? Если не виновен, вернется через несколько дней.

— Нет. Кто к вам попадает, скоро не возвращается, — печально констатировала жена.

Говорить о том, что мы, ленинградцы, не знали о происходящих в городе массовых арестах, не приходится: конечно, знали. И обсуждали. Правда, в сугубо своем, родственном кругу, да и то с опаской, осторожно. В тридцать седьмой — тридцать восьмой годы мало кто кому доверял. Бывало, отец отказывался от сына, сын от отца, — к сожалению, бывало. Об этом знали, говорили и недоумевали, поражаясь количеству

арестов. Но думали как-то умозрительно, как о чем-то происходящем вне нас, вне наших судеб,— поэтому даже в самом страшном сне я и представить себе не мог, что когда-нибудь меня будут ждать в моей квартире вооруженные люди на предмет ареста. И все-таки это произошло... В ночь с 4 на 5 июля 1938 года случился самый страшный страх в моей жизни. Все последующие страхи, а они были, и не единожды, ни в какое сравнение с этим ночным страхом не шли. Поэтому она, эта ночь, и запомнилась в мельчайших деталях и навсегда.

...Запомнилась скорбная поза нашего дворника, сочувственно наблюдавшего, как меня вели под конвоем к ожидавшей у ворот «эмке»...

...Запомнилась и жуткая вежливость командира, предупредительно распахнувшего передо мной дверцу машины...

...Запомнилось и первое теплое, после ненастного июня, чистое, солнечное июльское утро — несчастное утро моей жизни!..

Когда я, заботливо стиснутый конвоирами, сидел в «эмке», идущей последним прощальным маршрутом с Первой линии моего родного Васильевского Острова по набережной самой прекрасной в мире реки Невы, мимо моего детства — Меншиковского дворца, Ленинградского университета, где помещалась 204-я трудовая средняя школа, в которой я учился, и далее, мимо Зоологического музея, Академии наук на Дворцовый мост...

Судьба дала мне возможность попрощаться с бессмертным памятником Расстрелли — Зимним дворцом, Эрмитажем, в последний раз вспомнить Лизу из «Пиковой дамы». Машина прошла мимо Мраморного Дворца к Дому ученых, обогнув Марсово Поле и решетку Летнего сада, выехала на улицу Войнова (б. Шпалерная), пересекла Литейный проспект и остановилась у ничем не примечательных ворот «Большого дома», о котором позже сочинились строчки:

На улице Шпалерной
Стоит волшебный дом:
Войдешь в тот дом ребенком,
А выйдешь — стариком.

По сигналу «эмки» ворота гостеприимно распахнулись и поглотили вместе с машиной все двадцать две весны моей жизни. Такие понятия, как честь, справедливость, совесть, человеческое достоинство и обращение, остались по ту сторону ворот.

В регистрационной книге внутренней тюрьмы НКВД я значился 605-м поступившим в ее лоно в это ясное «урожайное» утро 1938 года.

ОМЧАГСКАЯ ДОЛИНА

(Из книги «От «Глухаря» до «Жар-птицы»)

«Дорога в ад устлана благими намерениями» — гласит английская поговорка.

В день Первого мая за «благие намерения» я получил подарок от своего начальника — очередные десять суток карцера с последующей отправкой на штрафной прииск. Моя «дорога в ад» началась в гараже районной экскаваторной станции (РЭКС), и, пройдя «душечистилице» лагерного карцера, закончилась на вахте штрафного прииска «Глухарь», прилепившегося у самого перевала к каменистому, поросшему мхом склону сопки.

Тот злополучный день начался как обычный трудовой день... Первомайский праздник на заключенных не распространялся, лагерь работал, как всегда.

Массовый взрыв уже состоялся. Экскаваторы «ППГ» трудились вовсю. Пыхтели, скрежетали по вечной мерзлоте ковшами, очищали подошву забоя от взорванных пустых пород (торфов). За бортом забоя росли огромные отвалы мерзлой породы. Вездесущие лотошники, как назозные жуки, уже копошились в них в поисках золота.

Стояла глубокая оттепель. Днем таяли снега, начали оттаивать забои. Вот-вот и начнется промывочный сезон.

Начальство всячески торопило с окончанием вскрышных работ, поэтому в праздничный день работали не только заключенные, но и некоторые вольнонаемные, без которых в этот день нельзя было обойтись.

В гараже, где я работал единственным диспетчером, уже с утра все пошло наперекосяк. Машины, развозившие экскаваторам топливо и воду, обслуживали вольнонаемные водители. Некоторые из них не вышли в этот день, видно, еще с вечера начав отмечать праздник, а от тех, кто явился, проку оказалось немного: после нескольких утренних рейсов в забой, к экскаваторам, они ухитрились набраться так, что засыпали у диспетчерского столика, пока я отмечал им путевые листы. Приходилось самому садиться за баранку и выручать товарища.

Вот я и мотался туда-сюда, пытаюсь предотвратить простои экскаваторов, рассосать ситуацию в надежде, что мои «павшие» проспят и вернутся в строй. Но много ли я мог сделать один, когда со всех участков забоя, как сигналы бедствия, неслись тревожные гудки экскаваторов, требовавших воды и топлива.

Грешным делом, к полудню я и сам не удержался — причастился! Сердобольные «вольняшки» преподнесли и мне чарку — поздравили с праздником.

С нами старались не иметь никаких контактов только те «вольняшки», кто завербовался на «материке», заключив «полярный договор» с Дальстроем, кто приехал на Колыму за «длинным рублем» или по каким-нибудь иным причинам, известным только им самим и никому

больше. Но таких почти и не было на простых физических работах. Они или занимали командные, начальственные должности, или, если возраст соответствовал, а специальной брони, дающей отсрочку, у них не имелось, были призваны в армию и воевали сейчас на фронтах Великой Отечественной.

Как назло, и погода фокусничала: чередовала солнечные прогалы с такими снежными зарядами, что в шаге от себя ничего нельзя было разобрать за сплошной стеной хлопьев мокрого снега.

Когда заряд кончался и на короткое время показывалось солнышко, кругом опять стояла первозданная целина.

Нелепой, чужеродной казалась вдали громада орущего экскаватора, неведь как оказавшегося в сияющем сказочном царстве нетронутого снега — ни следов, ни дорог, ничего!..

В один из таких «слепых» рейсов меня и угораздило наткнуться на своего начальника, когда, сбившись с пути, я кружил на одном месте в поисках дороги.

«Моя судьба» поджидала меня на обочине, у дорожной вешки, торчащей из снега, и семафорила рукой, приказывая остановиться. Ничего хорошего встреча не сулила, я понимал это. В чистом колымском воздухе запах алкоголя, принятого мною сегодня, мог перебить разве что запах керосина или жареной нерпы... Но нерпы не было, а керосином запахло в фигуральном смысле — нюх у моего начальника был не хуже, чем у добермана.

— А ну, стой-ка... стой! Притормози. Ты чего это кружишь? — Он подошел к кабине.

— Заблудился... — стараясь не дышать в его сторону, ответил я. — Сами видите — кругом бело, дорог никаких!.. Того и гляди загремишь в забой вместе с машиной. Не подскажете, гражданин начальник, как проехать на пятый?.. Везу топливо экскаватору.

— А почему за рулем?.. Кто разрешил? Где вольный водитель? — Он подозрительно приглядывался ко мне.

— Водитель?.. Дома, наверное, — сегодня же праздник! На работу не вышел, вот я и еду. Не стоять же экскаватору.

Не зря я боялся — начальник унюхал-таки запах алкоголя.

— Пьяный?! — аж задохнулся он и без всякого перехода, как это часто бывало с ним, заорал: — Заблудился! Дорогу тебе подсказать, негодяй?! В такой день напился, позор!.. А ну, вылезай из кабины, алкоголь!

Остановить его теперь было невозможно — начальник «пошел вразнос»... Я повиновался, вылез из машины — от судьбы не убежишь.

— Он заблудился! Дорогу потерял! Ничего, я выведу тебя на чистую воду... Я подскажу тебе дорогу, негодяй! — Начальник никак не мог вытащить из кобуры огромный, ржавый пистолет. — На вахту, шагом марш!

— Воду бы спустить на всякий случай... — Я показал рукой на машину.

— Не твоя забота, шагай! — Он ткнул меня пистолетом в спину.

— Спрячьте пушку-то, гражданин начальник! Не смешите людей. С такими игрушками не шутят.

— Молчать! Пристрелю.

— Стреляй, спина широкая... Ну! — Вдруг с какой-то забубенной удалой закричал я, теряя контроль над собой.

— Молчать!

— Не замолчу! — Я уже не боялся его.

Отчаяние, гнев, обида, годами копившиеся во мне, рвались наружу. Выпитый спирт только придал храбрости — верно, что пьяному море по колено... Я понимал, что жгу корабли, но уже ничего с собой поделать не мог, меня прорвало.

— Ты как со мной разговариваешь, негодяй? — Начальник захлебнулся от ярости.

— Не нравится, да? — кричал я. — А мне, думаете, нравится, как вы годами измываетесь надо мной, за что?.. Вам нравится, что я послушно ишачу, как бесправный раб? Вы привыкли к этому?.. Потому и таскаете за собой, как собственность... Я вам не собака — хочу казнь, хочу милую!.. Я человек, а не скотина, запомните это! Он пристрелит меня!.. Мало, видно, понастреляли за эти годы — все еще руки чешутся, да?.. Ну и стреляйте, чего боитесь? Вам за это только лишнюю блыху повесят на грудь «за храбрость», одним контриком меньше! Знаем, как это делается: «Убит при попытке к бегству», подпись, печать, и все — хана! Человека как и не бывало, остался один акт! А что? Нас двое в поле, кругом снег, свидетелей, кроме бога, никаких, кому верить?.. Вам, конечно, — бог нынче не в счет.

Подумаешь, преступление, выпил! Угостили. Сегодня международный праздник трудящихся всего мира! А кто я такой? Самый настоящий трудящийся. Значит, и праздник мой! Где сказано, что он только для «вольняшек»? Спасибо, нашлись добрые люди, догадались — поздравили.

Это от вас не то что благодарности — прошлогоднего снега не дожدهмся. Вы только пугать и умеете: карцер, срок, пристрелю! Знаете свое «давай-давай»... Хотя бы когда сказали «на, возьми» или «спасибо»... Что я выпил, вы унюхали, а вот что я вкалываю за другого дядю, вам невдомек! Где же ваша совесть?

Кто заставляет меня делать чужую работу — возить по забоям топливо? Никто. Это не моя забота: Экскаваторы встанут? Ну и хрен с ними, пусть стоят! Что мне, больше всех надо? Это — ваше дело. Вы начальство — вам и думать! За это вам деньги платят! Однако я, как божья коровка, ползаю с утра по забоям, а почему? Потому, что совесть моя не позволяет равнодушно слушать, как трубят экскаваторы, понятно? Только не у всех она, видно, есть, совесть!

Один мой следователь хвастался, что у него вместо совести х...й вырос! Вот так, гражданин начальник! И не пугайте меня бесполезно, ничего не выйдет! Больше, чем меня напугали в 1938 году, уже не напугаешь.

Я выплеснул ему в лицо все свои обиды, накопившиеся за годы вынужденного «мирного сосуществования» с ним. Я не боялся, что в сердцах он может пристрелить меня, — такого за ним вроде бы не водилось, хотя с нервами было далеко не в порядке — психовал он часто. Сейчас он еле владел собой. Разозлил я его ужасно.

Не задумываясь, он застрелил бы меня, если бы нашел в себе силы переступить через себя, через свою природу. Это-то сознание бессилия и приводило его в исступление больше, чем слова, в выборе которых я не особенно стеснялся, так как и сам сейчас не очень владел собой.

Ему необходимо было сорвать свою злость, облегчить душу — своей ярости он искал выход. Он материл меня последними словами, искал способ чем-нибудь донять... и нашел наконец!

Не доходя до вахты лагеря, закричал комендангу:

— Парикмахера сюда, немедленно!

А когда парикмахер явился, выхватил из его рук машинку, толкнул меня на пенек у вахты и с каким-то сатанинским наслаждением принялся стричь мне волосы на голове.

Волосы, отросшие за время диспетчерства и чудом убереженные от парикмахеров в дни обязательных банных стрижек в лагере.

Волосы — признак вольного человека!

Длинные волосы — иллюзия свободы! Мечта и гордость каждого заключенного!

Нашел все-таки мою болевую точку... Закончив экзекуцию со стрижкой, вынес приговор:

— В карцер! На десять суток.

Так в дни Первомайских праздников 1943 года я оказался в лагерьном карцере прииска имени Тимошенко, в неунывающей компании «блатных». Надо отдать им должное, в критических ситуациях они не теряются, не раскисают, не поддаются отчаянию и не празднуют труса. Лагерь для вора — дом родной! Не потому, что там сладко, там очень несладко, но там привычно. Лагерь — постоянная среда обитания людей этой древней профессии. Жизнь вора — детективный фильм в пяти сериях: преступление, арест, тюрьма, суд, лагерь. А освобождение или побег — всего лишь антракт между двумя очередными сеансами. Долго он не длится, даже у самых удачливых: опять следует преступление, арест, тюрьма и т. д. И все повторяется сначала, или, как воры говорят, «по новой»... Исключение составляют «завязавшие», мне встречать таких не доводилось. Воры — как волки: долго не живут и почти не приручаются. Но их сила воли, их живучесть поражает. Они умеют терпеть физическую боль, переносить болезни, голод, произвол охраны... Нельзя не восхищаться их стойкостью. Честный вор (вор в законе) товарища в беде не оставит — разделит с ним последний кусок хлеба. Воры в законе — своеобразное братство, масонская ложа со своим кодексом чести, со своими воровскими законами. Жестокими, жуткими, волчьими... но не шакальными. Полное презрение к материальным ценностям, к день-

гам. Деньги шальные — улетят, прилетят, как голуби! Никакого крохотства, на карту ставится все...

Среди воров много одаренных от природы натур, талантливых, сильных, умных. Трагично, что эти недюжинные качества получали такое уродливое выражение в жизни.

Артистов они любят. Меня приняли нормально, хотя я для них никто — фриajer. Даже потеснились на нарах. И в этом было спасение, поскольку, сидя в карцере в одиночку, можно запросто «дать дуба» от холода. Майские вечера на Колыме не вечера на хуторе близь Диканьки — мороз ночью лютей! А дров нам полагалось всего восемь килограммов на сутки. Эту «пайку» берегли на те минуты, когда засыпали. Все остальное время ночи обогревались друг о друга.

Наше еще счастье, что карцер мы получили с выводом на работу. Рано утром конвой забирал нас и гнал в забой. Понукать и подбадривать не было нужды — выскакивали из «кандея», как пробки из бутылок.

Очередные десять суток, которыми наградил меня начальник лагеря за мое трудовое усердие, мне предстояло отбыть от звонка до звонка. Как говорится, час в час, минута в минуту. Не девять и не одиннадцать суток, а ровно десять. Старший лейтенант Лебедев Николай Иванович своему характеру не изменял никогда. Рассчитывать на его милосердие не приходилось.

За три с лишним года, что он таскал меня за собой по всей Колыме, куда бы его ни переводили по службе, я заработал от него в знак особого к себе расположения суток двести карцера, не меньше. И отсидел бы их все сполна, если бы не научился вовремя исчезать с его глаз, пока он кричал и ругался, до появления коменданта или охраны. Был он вспыльчив, но отходчив, — не видя перед собой объект раздражения, скисал, гнев его мгновенно испарялся.

Справедливости ради надо сказать, что человек он был незаурядный и в своем роде обаятельный.

Прекрасный организатор — решительный, энергичный. Не давал покоя ни себе, ни другим. Мучил всех. Сутками не вылезал из забоя — подгонял, проверял, требовал... Непонятно было, когда он спал.

«Чума» — так прозвали начальника за непредсказуемость его поступков. Никогда нельзя было угадать, как он поведет себя в тот или иной момент. Его часто захлестывали эмоции.

...В лагерь привезли бильярд?! Кому это пришло в голову, неизвестно — акцией ума этот факт не назовешь. Скорее всего это был знак расположения кого-то к кому-то и за что-то. Факт остается фактом — бильярд появился. Ясно, что это была мера поощрительная, — ну, скажем, реакция культурно-воспитательной части МАГЛАГа на трудовые успехи лагеря. Бильярд не настоящий, но и не игрушечный. Шары не костяные, но и не металлические — так, ни то ни се, эрзац, но играть можно.

Специально для него распорядились построить на открытой площадке лагеря навес от дождя. Начальник радовался больше всех.

С кием в руке я и увидел его, когда, выпавшись после ночной смены, вышел из барака. В измазанных мелом галифе он кружил с видом победителя вокруг бильярда и легко, с прибаутками обыгрывал каждого, кто пытался соперничать с ним. Роль чемпиона ему нравилась, он был в прекрасном настроении. Заметив меня, предложил и мне сразиться с ним. Я согласился (разве откажешь начальнику).

— Американку, пирамидку? — с высокомерностью спросил он.

— Как угодно, гражданин начальник! — скромно ответил я и добавил: — Если в пирамидку, даю вам не глядя десять очков форы.

— Во нахал, во нахал! Все слышали, да? Так! Ладно, принимаю условия. Посмотрим... Начинай!

Школа, которую я прошел в свое время у маркера Дмитрия Михайловича Иванова (знаменитый Митя-Сапожок) в Ленинграде, сделала свое дело — партию у него я выиграл.

— Давай ставь следующую. И не нужна мне твоя фора — играем на равных! — Начальник мрачнел.

С каждым положенным мною в лузу шаром барометр его настроения стремительно падал, предвещая бурю... Вокруг нас собрались любопытные. Мне бы, дураку, проиграть ему, а я опять выиграл. В середине третьей партии, поняв, что и ее проигрывает, начальник зловеще оглядел меня с ног до головы и спросил:

— А почему ты не на работе?

— Я же в ночную смену, — опешил я.

— Я покажу тебе ночную смену, бездельник! Дармоед! Комендант! — закричал он. И когда тот подошел, начальник, тыча мне в грудь кием, приказал: — В карцер его!

Так до вечернего развода я и просидел там — не выигрывай у начальства!

* * *

Какое-то время мне посчастливилось работать водителем в РЭКСе. В мои обязанности входило возить топливо и воду экскаваторам «ППГ». Начальник сообразил, какая ему от моей работы может быть выгода.

— Слушай, Жженов, — обратился он ко мне как-то на разводе. — По твоей статье тебе полагается быть в забое на общих, и нигде иначе, — а ты где работаешь? То-то! Не забывай это и помни, что ты в лагере живешь — лагерь твой дом, а не РЭКС! Зима на носу! Дрова нужны и на кухню, и в бараки. Что тебе стоит сделать одну-две ездки? Ты же хозяин на машине! Понял меня?

Я передал этот разговор начальнику РЭКСа и попросил разрешения сделать несколько ездок с дровами в лагерь.

— Ты же недавно возил дрова в лагерь? — удивился он.

— Выходит, мало, — ответил я.

— Да пошел он к...! Пусть сам обращается ко мне. Нечего зека шантажировать! Так и передай ему.

Ничего, конечно, передавать я не стал, а при первом же удобном случае закинул несколько машин с дровами в лагерь, на свой страх и риск. Начальник РЭКСа узнал об этом самовольстве и снял с машины — разжаловал меня в слесари. Спасибо, что не выгнал совсем, а перевел в гараж на ремонтные работы. Там на меня случайно и наткнулся начальник лагеря. Я лежал под машиной в холодном, обледевшем гараже и крутил гайки — наружу торчали только ноги...

— Эй, кто там? Чьи ноги? — Он постучал валенком по моим ногам.

— Мои, мои... — Я выглянул из-под машины.

— Жженов, ты? — удивился он. — Что ты тут делаешь?

— Что я делаю? Отбываю наказание.

— Не понял. Какое наказание?

— Расплачиваюсь за самовольство.

— Тебя сняли с машины? За что?

— За дрова. За что же еще?.. Вы же советовали не забывать дом родной.

— Ах вот оно что! За это лучшего моего работягу под машину? — взъярился начальник. — Это что же такое делается?! А ну, марш в лагерь сейчас же! Я покажу ему, как моих работяг морозить! Снимаю тебя с этой работы. Пускай «вольняшки» на него ишачат! Иди, иди!.. — И он побежал в контору РЭКСа.

Как они объяснились друг с другом, оба моих начальника, неизвестно, а вот результат их встречи аукнулся мне уже на следующий день...

Нарядчик, проводивший утренний развод, вместо РЭКСа отправил меня в забой на общие.

«Паны дерутся — с холопов шапки летят!»

* * *

Однажды ночью вблизи прииска случился пожар. Горела сопка, поросшая стлаником. Хвоя вспыхнула, как порох, мгновенно опоясав огненным кольцом всю сопку. Загорелась и сухостойная лиственница, обильно росшая по южному склону. Огонь, набирая силу, скатывался все ниже и ниже к подножию сопки, угрожая приисковым строениям: эстакадам, сплоткам, буторным приборам, транспортерам — всему деревянному хозяйству прииска. По тревоге были подняты на ноги все. И вольные, и заключенные, и вохра... Тысячи людей, хватая кайла, лопаты, ведра, полезли на сопку навстречу пожару... Несчастье сплотило всех.

Николай Иванович, конечно, был в первых рядах «атакующих». Закопченный, страшный, в обгоревшей шинели, вымазанный в грязи и саже, вымокший... Размахивая какой-то парусиновой хламидой, он бросался на огонь, и, как хитрый полководец, не теряющий разума в испуге...

нии боя, охрипшим голосом командовал своей верной гвардии: — «Вольняшки» на х...! Заключенные, за мной! Вперед! Ура!»

К его чести, надо сказать, что в отношениях с людьми он не делал разницы между вольнонаемными и заключенными, когда дело касалось работы.

«Вольняшки» недолюбливали его за настырный, беспокойный характер и побаивались.

Зеки, наоборот, хотя и терпели от него многое, — уважали, инстинктивно чувствуя отсутствие личной корысти в его одержимости.

Мерил он всех одной меркой — работой. Если ты постоянно выполнял дневную обязательную норму, а не дай бог еще и перевыполнял, — ты ему лучший друг. К таким, кто по неопытности или по жадности нес ему золота больше нормы, демонстрировал личное расположение. Немилосердно лстыл, поощрял продуктовыми подачками из ларька — спиртом и махоркой (по курсу: грамм золота — грамм махорки). Упаси бог было смалодушествовать и польститься на его щедрость. Начальник быстро привыкал к новой порции и уже требовал ее перевыполнения, и так без конца... Он забывал, что перевыполнять норму постоянно нельзя. Часто это не зависело от самого работающего даже: ведь содержание золота в жиле непостоянно и неравномерно (то густо, то пусто)... А если ты лотошник — моешь золото лотком, то не последнюю роль играет еще и везение, случай. Начальник все это прекрасно знал, но... «забывал!». Когда же обласканный, вывернутый наизнанку зек возвращался к первоначальной, минимальной норме, лишал его своих милостей, попрекал как бездельника и грозил карцером.

Начальник придумал «ежедневный субботник»... Обложил золотым оброком всех, кто непосредственно не работал в забое, кто не мыл золото лотком или на проходнушках. Всю лагерную обслугу и всех придурков обязал под страхом «кандея» ежедневно в течение всего промывочного сезона после основной работы в зоне лагеря выходить в забой...

Золото, золото... Кровь из носу, а подай золото! Ищи где хочешь, когда хочешь и как хочешь, но двадцать граммов металла отдай!

Бдительно следил за всеми, кто ловчил и изворачивался, кто заставлял других ишачить вместо себя. Таких, если удавалось поймать, беспощадно гнал с блатных, насиженных мест на общие работы.

Зачем, например, хлеборезу, врачу или нарядчику корячиться в забое самому? Любой работяга-лотошник за лишний кусок хлеба или освобождение от работы с радостью будет снабжать их металлом — подумает, двадцать грамм!

Каждое утро в тазике у дневального после мытья пола в бараке оставалось 3—5 граммов золота, занесенного из забоя на обуви и одежде работяг.

В Омчагской долине, или «в долине маршалов», как ее называют, на приисках им. Буденного, Ворошилова, Гастелло и Тимошенко золота

было много. Брали его, как и везде на Колыме, хищнически, брали где легче, не заботясь о будущем, лишь бы дать план, задобрить начальство.

Теперь, через много десятилетий, с великими затратами перемывают то, что тогда бездумно ушло в отвалы.

Шутка ли... Одними «ежедневными субботниками» Николай Иванович Лебедев ухитрился приобщить к производственному плану прииска более десяти килограммов золота ежедневно!

Энтузиаст и идеалист, он «кнутом и пряником» пытался бороться за честный труд, за чистоту нравов в лагере. С одной стороны, на вечерних поверках произносил зажигательные речи, обращенные к патриотическим чувствам и гражданскому сознанию подчиненных ему зеков, с другой стороны — всех устрасал вывешенный на самом лобном месте перед вахтой для обозрения грозный приказ, категорически, под страхом смерти, запрещающий пронос металла из забоя в зону.

Его филантропические усилия успеха почти не имели. Разве что лишний раз застревали в мозгу той части безвинных зеков, которой и без его проповедей не чужды были патриотические чувства. Но, к сожалению, они являлись лишь частью «Ноева ковчега», бесправной его частью. Власть в лагерях принадлежала уголовникам, начиная с матерых бандитов-рецидивистов и кончая бытовыми преступниками. Призывы к их сознанию по меньшей мере наивны. Всем давным-давно известно, что наши исправительно-трудовые лагеря еще никого не исправляли, а если и перевоспитывали, то скорее в обратном порядке, превращая неопытных дилетантов в профессионалов-рецидивистов с «гулаговскими» дипломами, специалистов узкого профиля: ширмачей, домушников, скорей, щипачей, ключников, мокрушников и прочей сволочи... «Друзья народа», свившие уютные гнезда в лагерях, терроризировавшие всех и вся! На приказ у вахты не обращали внимания. В угрозу расстрела не верили. Золото как-несли, так и продолжали нести: оно заменяло деньги. На него выменивалось все: и пища, и табак, и одежда.

Как-то он заявился в барак, где я дневалил, и шепотом, чтобы не разбудить спящих, вызвал в тамбур. Было около полуночи...

— Здравствуйте, гражданин начальник!

— Здравствуй, здравствуй,— сказал он,— как твоя рука?

— Спасибо. Ничего.— Я пошевелил пальцами.— А что, пора уже и в забой, да?

— Не спеши, покантуйся еще малость, успеешь, наработаешься! Я не к тому...

К тому не к тому, а чего-то он явно недоговаривал. Я молчал. Ждал...

Руку мне сломали. И сломали дважды. Сначала в забое, в драке, а вскоре, когда она начала срастаться и подживать, снова сломали, уже в бараке, и опять в драке (я ударил вора). Блатные распяли меня, как Иисуса Христа на крестовине нар, и заново разломали руку, обе кости (фрайер не имеет права бить вора).

В обоих случаях виноват я не был, просто я не стерпел оскорбления. Начальник разобрался беспристрастно, сочтя меня правым в этой истории, потому и не выгнал со сломанной рукой в забой, а разрешил до выздоровления быть дневальным в бараке, где жила бригада лотошников, в которой я работал до болезни.

— Понимаешь, какая штука, — заговорил он. — У меня на весах сейчас 11 кг 960 г... С любой добавкой все равно это звучит как одиннадцать, верно ведь?.. И совсем другое дело — двенадцать!.. Чувствуешь!.. ДВЕНАДЦАТЬ!! И звучит иначе — солидно, понимаешь?

— Понимаю. Только к чему вы?..

— Выручай!.. Позарез нужно сорок грамм металла, понимаешь?

— Понимаю. Только где я возьму эти сорок грамм?

Мой вопрос он оставил без ответа. Будто и не слышал вовсе, продолжал:

— Мне через час рапортовать надо! Сводку в Магадан передавать, понимаешь!.. А у меня 11 кг 960 г!.. Сорок грамм не хватает до ДВЕНАДЦАТИ, понял?

— Давно понял. Только где я их возьму? — как дятел долбил я.

— Где? — зашипел начальник и показал пальцем в сторону спящих. — Вон где!.. Там, у любого работяги! И брось дурака валять! Я буду его учить, у кого, где?.. — Он начал заводиться. — Он, видите ли, не знает где?..

— Вы на что намекаете, гражданин начальник? Неужели вы думаете, что кто-то посмеет нести металл в зону?.. Вы что, своих приказов не читаете?.. «За грамм пронесенного в зону лагеря металла — расстрел!» — продекламировал я ему.

— Пошел ты... Дашь или нет, отвечай? — Злить его дальше становилось рискованно, начальник мог взорваться.

— Ладно. Не сердитесь, гражданин начальник, подчиняюсь... делать нечего. Пойду в забой сам на ночь глядя. Прикажете вахтерам выпустить меня из зоны. Не жаль вам инвалида однорукого! — запричитал я.

— Не придируйся, не придируйся... Не считай меня идиотом! Жду тебя в ларьке... с металлом! — И, совсем уже уходя, пообещал: — С меня полкружки спирту.

Он понял, что сорок граммов золота я ему принесу.

Как только ушел начальник, я тихонько разбудил одного из работяг и попросил одолжить мне граммов пятьдесят металла. Пробормотав спросонья что-то нечленораздельное, он махнул рукой в сторону потолка над собой и тотчас заснул снова.

Пошуровав на ощупь за воценой бумагой из-под аммонала, которой был оббит потолок в бараке, я достал бумажный конвертик (капсюль), отсыпал из него на глаз граммов пятьдесят золота на ладонь, завернул в тряпицу и положил в карман. «Капсюль» с остатком металла засунул на прежнее место. Не спеша надел телогрейку, взял лоток и скребок в тамбуре и направился к вахте.

За вахтой, делая вид, что иду в забой, отошел шагов на пятьдесят, лишь бы меня не было видно вахтерам, разыскал подходящий камушек, сел на него, закурил, задумался...

Стояла тишина. В белесых сумерках летней полярной ночи спал лагерь, умаявшись за долгий трудовой день...

Не спали лишь охрана да начальник, ожидающий золота в лагерьной каптерке... Не спал я, делая вид, что в поте лица своего мою в ночном забое это самое золото, недостающее ему для полного счастья!.. Все идет своим чередом: бежит время, летят года!.. Хочешь остаться в живых, вернуться домой, хочешь увидеть близких тебе людей — не задумывайся, не бери себя, соблюдай правила игры — делай вид!!

Незаметно подкралась, подползла тоска. Стало невыносимо грустно... Опять заскребло, заныло в груди, захотелось поднять голову и закричать!.. Истошно, по-звериному! Пожаловаться небу, излиться в холодные глубины звездного мироздания!.. Навсегда исторгнуть разъедающую душу боль обреченности!..

Что же они делают с нами? Когда это все кончится?

Мое счастье, что в такие минуты вся боль души моей — отчаяние, надежда, одиночество, жажда жизни, любви — каким-то непостижимым образом рвалась наружу не криком и не слезами, а в словах!.. Слова!.. Спасительные слова, рождаясь на свет, искали друг друга, тычась, как слепые котята, роились, множились... В хаосе бесчисленных комбинаций, рожденных воображением, творили себе подобных, соединялись в смысловые сочетания, продирались сквозь строй самокритичных «шпицрутенгов» и, облагороженные рифмой, музыкой, ритмом, образностью, становились наконец стихами...

Не ахти какие по таланту (это от бога) — наивные, но честные, чистые... Спасительные в момент депрессии, душевного мрака, когда от самоубийства человека отделяет всего лишь шаг. Стихи, возвращающие надежду, помогающие терпеть.

Закрою глаза, и вновь снится
Прозрачная сказочность гор,
И иней на длинных ресницах,
И глаз незнакомых укор...

И, кажется, звездной кометой,
Упав с бирюзовых небес,
Мелькнула, и призрачным светом
Зажегся серебряный лес.

Погасли глаз милых зарницы,
И нет ничего впереди,
И только подстреленной птицей
Колотится сердце в груди...

И снова по трассе таежной
Ползти от кювета в кювет...
Ведь юноше с «черною» кожей
Не может быть счастья и нет!

Долгие страдания не свойственны молодости, несчастья забываются. Жажда жизни, ее простые радости берут верх... А легкомыслие и некоторая авантюристичность — азартность моей натуры помогли принять предложенные правила игры. Через год-два я уже постиг законы лагеря. Жил сегодняшним днем!.. Жил, не заботясь о том, что будет завтра, — сегодня цел — и ладно...

Выражаясь языком блатных, из «чистого» фрайера я постепенно становился «мутным» фрайером, то есть человеком, опасным, с которым луже не связываться: он может дать сдачи, постоять за себя.

Не все из нас разделяли эти неписанные законы... Не каждый очутившийся во власти ГУЛАГА считал возможным принять жестокие правила игры, предложенные лагерным «катехизисом», выстроенным по принципу: «Лучше умри ты сегодня, а я — завтра!».

Сколько прошло перед моими глазами людей, которые погибли, так и не осилив Дантовы круги колымского ада! Людей честных, глубоко чувствующих, интеллигентных... Они погибали не от физического истощения, нет!.. Суровый климат, цинга, дистрофия, произвол уносили, конечно, жизни многих хороших людей, но эти чистые души уходили, не пережив крушения ими же воздвигнутых идеалов, крушения собственной веры. Уходили тихо, без борьбы, и никакие самые гуманные условия лагеря не могли зарубцевать смертельных ран, нанесенных достоинству человека, его чести.

...Цигарка докурена, пора возвращаться! В первой попавшейся луже отфактурил лоток и скребок, изрядно намочив их в грязной жиже, для вящей убедительности выкупал и тряпку с золотишком и бодрым шагом направился в каптерку в предвкушении обещанной мне полкружки спирта, — начальник свое слово держал всегда.

«ГЛУХАРЬ»

Поначалу это был один из пяти участков прииска им. Тимошенко. Никакой не штрафной, а самый обычный: самый верхний в распадке и самый удаленный от комендантского лагеря, где содержалась основная рабочая сила прииска — несколько тысяч заключенных.

Кроме виляющей по каменистому распадку пешеходной тропинки, никаких дорог туда не было. Если на других участках прииска, имевших подходы и подъезды, начала появляться различная горнорудная техника,

облегчавшая труд, то на «Глухаре» ее и в помине не было, за исключением той, что мог перетащить на себе сам человек или выючная лошадь.

Добыча золота велась там дедовским способом, по старинке — лом, кайло, лопата, тачка... остальное — мускулы... «ЧТЗ!» — горько шутили зеки, уподобляя забойщика продукции Челябинского тракторного завода.

Заклученные комендантского лагеря, работавшие на «Глухаре», ежедневно брели под конвоем пять километров туда и после двенадцатичасового тяжелого труда в забое спускались обратно в лагерь...

Очень скоро такая «утренняя гимнастика» по камням распадка оказалась не под силу даже для самых молодых и выносливых...

Сидевшие по пятьдесят восьмой статье (а их было большинство на приiske) не относились ни к молодым, ни к выносливым, — эти люди на воле представляли мозг государства, а не его руки!.. Условия лагерей Дальстроя для них оказались непосильны. Очень скоро люди стали сдавать, превращаться в доходяг, увеличивая и без того огромный процент приморенных режимом.

Николай Иванович Лебедев понимал многое. Ему и пришла в голову идея организовать в верховье распадка, рядом с забоем, где велась добыча золота, отдельный лагпункт, чтобы, во-первых, не тратить напрасно время на выматывающую людей дорогу, во-вторых, туда легко будет ссылать всех мешающих нормальной жизни лагеря... Всех неугодных, всех, кто не хочет или не может работать в забое.

Среди лагерного начальства все чаще попадались люди, изверившиеся в разумности исправительно-трудовой политики ГУЛАГА, поощрявшей совместное содержание уголовников и политических...

Мне казалось, что и Николай Иванович понимал, что, несмотря на отлаженный годами механизм власти, действительный хозяин в лагере не он и не честные работяги, как ему думалось и хотелось, а уголовники... они хозяева положения!

Монаршья власть в лагерях принадлежала «элите» уголовного мира! Матерым бандитам, вора-рецидивистам, бытовым преступникам — жуликам, аферистам, взяточникам... Они были истинные хозяева! Они вели себя, как волки в овчарне, эти выродки, мразь, отбросы общества.

Идею создания штрафного прииска в Омчagsкой долине поддерживали все. У каждого начальника паразитирующей «шоблы» накопилось достаточно, и каждый мечтал от нее избавиться.

В выбранном месте наспех соорудили бараки, кухню, несколько служебных помещений, вахту... В небо поднялись колокольни сторожевых вышек. Через несколько дней из лагерей приисков им. Буденного, Ворошилова, Гастелло, Тимошенко пригнали этап «новоселов» — человек четыреста неугодных своему начальству зеков с постельными принадлежностями на спинах, с жалкими личными пожитками в руках.

За ночь зону опутали колючей проволокой, как рождественскую елку канителью... На вышки забралась «муэдзины» с автоматами, зашеве-

лились перед вахтой охранники в новеньких полушубках, залаяли собаками...

Для Николая Ивановича существование под боком «Глухаря» оказалось как нельзя кстати. Он сплавлял туда всех блатных, не желавших ни перевоспитываться, ни работать. Он ненавидел их! Выметал из лагеря беспощадно. Пачками гнал под конвоем на «Глухарь».

Настал наконец день, когда и мои десять суток наказания пришли к концу. Конвой вывел всю нашу блатную компанию из карцера и повел мимо забоев вверх по распадку, по берегу очнувшегося от зимней спячки ключа, к самым его истокам, в сопки... Там, у перевала, ошетинился колючей проволокой на все четыре стороны света мой новый родной дом — штрафной лагерный пункт «Глухарь».

У вахты произошло недоразумение: начальник «Глухаря», неприемной внешности офицер с лейтенантскими погонами, сухощавый, подтянутый, увидев меня, опешил:

— А ты чего здесь?

Приняв от конвоира сопроводительные документы, он передал их команданту. Блатных увели в лагерь. У вахты мы остались вдвоем.

— Ты ко мне, что ли? — Он озадаченно смотрел на меня.

— К вам, гражданин начальник! — Я улыбался, понимая его недоумение.

— Гражданин?.. — Он растерянно оглядел меня... заметил стриженую голову. — Так ты заключенный, что ли?.. Вот это номер... А я за вольняшку тебя принимал!.. Ай-яй-яй-яй-яй!..

Лейтенант Габдракипов Сергей Халилович знал меня. Он часто обращался в РЭКС по всяким транспортным вопросам. Как диспетчер по мере возможности я всегда помогал ему. Мне нравилась его манера вести себя. Держался он со всеми ровно, вежливо.

Взяв на вахте сопроводительный документ, он внимательно прочел его, озадаченно посмотрел мне в лицо.

— Знаешь, что тут написано о тебе? — Я отрицательно покачал головой. Он зачитал: — «Использовать исключительно на общих подконвойных работах, впредь до особого распоряжения. Старший лейтенант Лебедев». За что он тебя так?..

Я пожал плечами: что сказать ему?.. Мы оба молчали. Бедный Габдракипов!.. Он не знает, как ему вести со мной дальше...

— Ну, что ж, ладно, — наконец произнес он, — проходи!.. Что-нибудь придумаем.

Придумал он не сразу.

Поначалу я угодил в забой на общие, гонял тачку... Промывочный сезон только начался — шло первое золото... Бригада, в которую я попал, работала звеньями по три человека. Каждой тройке отмерялся свой участок забоя, своя дневная порция... Двое кайлили оттаявшую породу, загружали лопатами в тачку, третий отгонял груженую тачку по деревянным трапам, проложенным по подошве забоя, на транспортерную ленту

(Единственная механизация в забое). Дальше порода двигалась по ленте к бункерам, высышалась туда и попадала на наклонную плоскость, застланную дырчатыми железными листами (грохота). Здесь и происходила буторка породы... Сюда же по сплоткам (деревянными желобам) подавалась из ключа в распадке вода, размывая ползущую по грохотам породу. Помогала специальная бригада буторщиков, вооруженных шестами с лопатками на конце, наподобие тех, которыми орудуют крупные на игорных столах в рулетку (только больших размеров). Они беспрерывно толкали ползущую породу навстречу течению воды, способствуя промывке. Золото как более тяжелое оседало на торцах деревянных колабашек, на веревочных и матерчатых матах, разостланных под грохотами, всё остальное уходило с водой в отвалы пустой породы.

По окончании смены подача воды уменьшалась, поднимались грохота, из-под них вынимали маты и торцы, золото с них стряхивали на настил, застрявшие частицы окончательно выполаскивали малой водой. После этого вода перекрывалась совсем, золото подметали в совки (как подметают сор с пола), взвешивали... Вечером подводился итог рабочего дня лагеря. Складывался он из трех взаимозависимых показателей. Количество перелопаченной в забое породы зависело от количества людей, участвующих в этом процессе, и — как результат первых двух показателей — количество килограммов добытого золота.

Начальство строго следило за тем, чтобы в забое работало как можно больше людей.

Ежедневно, после утреннего развода, начальник лагеря в сопровождении коменданта, старосты, нарядчика и врача обходил опустевший лагерь с проверкой. Кроме obsługi, работающей в самой зоне, кроме дневальных в бараках и пяти-шести человек больных, имевших освобождение (больше врачу освобождать не разрешалось, он рисковал сам очутиться в забое), в лагере не должен был оставаться ни один человек. Всех уклонившихся от развода, кого удавалось выловить, сгоняли к вахте, строили по пятеркам в колонну, назначали бригадира и под конвоем отправляли в забой. Таких ежедневно набиралось несколько десятков человек, в основном одних и тех же.

Были среди них всякие: и симулянты, и жулики, и действительно больные, но в большинстве своем это были слабые, полубольные, дистрофичные люди, потерявшие надежду выжить, поставившие на себе крест, плывшие, не сопротивляясь, по течению жизни, вернее... доплывавшие — «лебеди», так их ласково нарекли лагерные остроумцы. На «Глухарь» их ссылали как не нужный никому балласт.

Они безропотно брели к вахте, покорно снося оплеухи и брань старосты или нарядчика, послушно становились в строй в ожидании команды конвоя...

Вот этих-то «гвардейцев» и отдали однажды мне в подчинение, назначив бригадиром над ними.

Всю свою жизнь я избегаю любых начальственных должностей! Отвечать за всех — значит спрашивать с каждого, а это не по мне! Да и что можно было спросить с этих бедолаг, когда пройти пятьсот метров до забоя уже являлось для них подвигом!..

Майское солнышко с каждым днем все больше и больше давало о себе знать... С тающих бортов беспрерывно сочилась и капала талая вода. По подошве забоя бежали, вилия между камнями, крохотные струйки, соединялись, набирали по пути вниз силу, увеличивались... Ушлые, вездесущие лотошники городили в них ловушки для золота: весенняя распутица превратила забой в сплошное месиво раскисшей глины. Моей бригаде поручено было следить за тем, чтобы паводковые и сточные воды, стекавшие в забой, не мешали работе забойщиков, особенно тех, кто гонял тачки на транспортер. Выстроив своих «орлов» вдоль забоя в нескольких метрах друг от друга, я вложил в руки каждого инструмент (лом или лопату) и приказал долбить отводную канавку-русло для сточных вод... Вместе со всеми и сам встал в строй...

Некоторое время спустя, взглянув вдоль шеренги, я обнаружил, что те, кого я поставил в строй первыми, не работают, а сидят, обняв инструмент, там, где я первоначально их поставил... Я поднимал первых — садились последние... Я бежал к тем — садились эти!.. И так без конца! Как маятник мотался я вдоль строя, от одних к другим... И смех и грех!.. В конце концов понял, что заставить моих добрых молодцев работать даже господь бог не сможет... Плюнул на все, «наживил» каждого бедолагу — подпер для прочности под грудки ломом или лопатой, чтобы снова не валялись в мокром забое, а сам выбросил белый флаг, сдался, капитулировал...

Тут-то «моя судьба» и напомнила о себе снова: на «Глухаре» появился Николай Иванович.

Он шел по борту забоя, вдоль шеренги моих «гвардейцев», и с каким-то детским изумлением и обидой старался понять, что происходит перед его глазами. Его сопровождали Габдракипов и еще несколько чинов приискового начальства...

А зрелище было действительно жутким и смешным одновременно! Вдоль забоя, подпертые кто ломом, кто лопатой, в «петрушечных» позах огородных пугал застыли в «приветственном почетном карауле» несколько десятков зеков! Вся их «вина» перед начальством заключалась в том, что они оставили свое здоровье в забое раньше, чем кончился срок их заключения.

— Это что за цирк?! Кто придумал? Откуда эти гренадеры, где бригадир?

Я вылез из забоя наверх и предстал пред светлые очи высокого начальства. Начальство сделало вид, что незнакомо со мной.

— Почему люди не работают? — Он мотнул головой в сторону забоя.

— Вы, гражданин начальник, лучше спросите, почему они не стоят на ногах? — вопросом на вопрос, как можно спокойнее ответил я ему.

— А может, бригадир плох? Может быть, выгнать его следует?

— Может быть! Вы начальство — вам виднее.

По его лицу было видно, что он не забыл еще нашу первомайскую встречу. Не забыл ее и я.

— Марш в забой! И чтобы люди работали. — По тону, каким это было сказано, я понял, что сегодняшним днем мое бригадирство и закончится. Так оно и оказалось... На следующий день я снова гонял тачку.

Моя ссылка на «Глухарь» произошла скорее в результате стечения несчастливых для меня обстоятельств, нежели явилась следствием моего поведения. Понимая это, Сергей Халилович упорно игнорировал указания Лебедева держать меня на общих работах в забое и по возможности облегчал мне жизнь, посылая на легкие, вспомогательные работы...

Так и на этот раз: стоило Николаю Ивановичу вернуться на прииск им. Тимошенко, и я был переведен на другую работу — дежурным на транспортере. В мои обязанности входило: утром запустить транспортную ленту (включить рубильник), вечером остановить (выключить рубильник). В этой должности я просуществовал еще около месяца — до очередного визита Лебедева на «Глухарь».

На этот раз он появился вместе с уполномоченным в связи со случаем саморубства.

В бригаду, работавшую неподалеку от меня, в обеденный перерыв принесли хлеб. Раздачей руководил бригадир. Он же и определял, кому какая пайка причитается... Один из его работяг, мелкий вор, «юрок» (татарин), обиделся, посчитал себя обделенным, стал кричать: «Пачиму русский фамилием шиссот грамм, а мой нацменский фамилием читириста грамм, пачиму?»

Не встретив к себе сочувствия в бригаде, психанул: положил руку на трап и трахнул по ней топором — отрубил себе четыре пальца!..

С окровавленной культи его утащили в зону, в санчасть... Кончив обед, бригада ушла работать, а пальцы так и остались на трапе, почти не кровоточащие, отдельно от руки — неправдоподобно огромные...

С саморубами не церемонились. Никаких освобождений от работы не давали. В санчасти останавливали кровь и тут же выгоняли в забой. После смены вместо барака сажали в карцер. Оперуполномоченный заводил уголовное дело: контрреволюционный саботаж! Минимальный срок — десять лет! Чтобы неповадно было другим.

* * *

На «Глухаре» появились артисты. Собственно, не артисты, а музыканты — джаз. В каждом горнопромышленном управлении Дальстроя

по линии УСВИТЛ существовали эстрадно-театральные культбригады заключенных артистов (и профессионалов, и любителей), обслуживающие лагерь патриотическими концертами. Цель этих мероприятий обычная — поднять моральный дух заключенных, повысить их трудовой энтузиазм.

«Хлеба и зрелищ!» — требовали граждане Древнего Рима. На этих же принципах строились отношения и нашего начальства со своими «гражданами»... Только заключенные «Глухаря» были скромнее своих римских коллег: они не претендовали на удовлетворение духовных потребностей, им было не до зрелищ, они просили хлеба.

Но Николай Иванович действовал исходя из собственных возможностей: увеличивать хлебную норму штрафного прииска было не в его власти, зато артистов у него оказалось навалом — целая бригада, любой жанр на любой вкус!.. Вот он и решил поделиться духовной пищей со штрафниками «Глухаря». Они также, кстати, выполняли план в эти дни, как и все остальные участки прииска.

У нас сделалось традицией за всякого рода несбыточные посулы и обещания материального порядка расплачиваться артистами... Просто и дешево! Искусство с доставкой на дом, как пиво, — «распивочно и вынос»...

Николай Иванович был убежден, что забойщикам будет веселее и легче гонять тачки под бодрые звуки джаза.

Работяги с хмурым вниманием следили за идущими вдоль забоя музыкантами. Облюбовав подходящую каменистую полянку вблизи забоя, они расположились на ней, разобрали инструменты, настроились и, не дожидаясь обеденного перерыва, заиграли...

Чистенькие, одетые в специально сшитые одинаковые костюмчики из американской альпаговой ткани цвета «хаки», со свежими умытыми лицами, выбритые, при галстуках... Ну, прямо ангелы в преисподней, не иначе! Их вид, сверкающий на солнце никель инструментов, руслановские «Ва-ле-нки», «Барон фон дер-Пшик», в упругих звуках джаза попавший на «русский штык», — все это не вязалось с угрюмыми, изможденными, потными лицами забойщиков, в грязном сером тряпье копошившихся в мокрой глине оттаявшей породы под присмотром вооруженного конвоя...

Весь этот балаган с джазом казался издевательством, кощунством, пошлостью... Не меньшей, чем визит какой-нибудь знатной благотворительной особы во фронтową госпиталь, переполненный безрукими и безногими солдатами...

Танцевальные ритмы веселого джаза неслись по распадку, смешиваясь с грохотом буторных приборов, с лязгом и скрежетом транспортной ленты... «Одессит Мишка», размноженный горным эхо, «не теряя бодрость духа», затихал где-то далеко в сопках, у перевала...

Музыканты в этом представлении не виноваты: они народ подневольный. Но в отличие от большинства зеков им повезло, — они избежа-

ли забоя. Умный за них порадует, дурак позавидует. В обеденный перерыв меня потребовали к начальнику. Когда я вошел к нему, начальник, указав на дверь соседней комнаты, сказал:

— Там сидит главный артист, ихний руководитель. Я говорил ему о тебе. Ступай, он ждет!

Еще в 1939 году, в пересыльном лагере Владивостока, где формируются этапы на Колыму, говорили, что в Магадане есть театр, в котором вместе с вольнонаемными артистами работают и заключенные. Правда, с пятьдесят восьмой статьей туда не брали, не положено. Да и боялись: не дай бог еще используют сцену как трибуну для вражеской пропаганды! Но все же исключения бывали, и довольно часто.

Оказавшись на Колыме, я много раз обращался в КВЧ МАГЛАГА с просьбой направить работать по специальности, в театр или культбригаду. Ни ответа ни привета на свои заявления я не получал. Или их уничтожали тут же, никуда не отсылая, или они пропадали где-то в пути, а скорее всего время от времени ими топили печи в самом МАГЛАГЕ.

И вот сейчас я стою перед дверью, за которой ждет меня человек, руководитель культбригады, от свидания с которым, может быть, зависит моя дальнейшая судьба!..

Поразительный человек мой доброжелатель: ему бы воспитателем быть в детском доме, а не начальником лагеря! И не просто лагеря, а лагеря штрафного, где содержатся самые что ни есть подонки уголовного мира... Офицер карающих органов?! Большого несоответствия между занимаемой должностью и самим человеком я не встречал, кажется!.. Белая ворона в стае воронья! «Луч солнца в темном царстве» колымских лагерей!.. Добросердечный, мягкий... решительно неспособный распоряжаться судьбами других людей, наказывать, командовать,— повезло зекам «Глухаря» с начальником!..

Я вошел в комнату и поздоровался. В ответ мне протянул руку светлоглазый человек лет сорока и назвал себя. С этой минуты и началось мое знакомство с Константином Александровичем Никаноровым — артистом, режиссером, хорошим человеком!.. Знакомство, переросшее позже в дружбу, длившуюся все последующие годы заключения на Колыме, ссылки на Таймыре, в Норильске и потом, после нашей реабилитации, вплоть до его смерти в конце пятидесятых годов.

Вот как он сам вспоминал наше первое знакомство тогда на прииске: «В тот день, когда джаз вдохновлял ваших забойщиков, ко мне подошел начальник «Глухаря» и сказал, что в лагере у него находится заключенный, по документам артист, очень просит встретиться и поговорить с ним, уверяет, что снимался в кино в Ленинграде. Он проводил меня в помещении конторы лагеря и попросил подождать...

Когда ты вошел, я сразу же подумал: «Вот он, настоящий Васька Пелл, передо мной!...» Больше всего меня поразили твои глаза!.. На дубленом от мороза и непогоды, загорелом лице глаза! Сейчас они светились

надеждой!.. Лучились пронзительной синью!.. «Нестеровские», мученические, напряженные и внимательные, отчаянные глаза!..

Чтобы скрыть внезапно подступивший к горлу комок, я стал задавать вопросы, спросил кто ты, откуда, где учился, работал ли в театре...

Пока ты отвечал, я присматривался к тебе: сухощавое, недокормленное, как у борзой собаки, мускулистое тело... Сильные, натруженные в забое руки, в ссадинах и вечных «цыпках»... Какой там к черту артист — Васька Пепел стоял передо мной, и никто другой! Васька Пепел — вор и бандит!

Мне захотелось послушать тебя, чтобы понять, что ты представляешь собой, что ты умеешь, и я попросил прочесть мне что-нибудь наизусть.

— Стихи или прозу? — спросил ты.

Я подумал и ответил:

— Лучше прозу. — Мне показалось, что стихи в этой атмосфере прозвучат особенно нелепо.

Ты долго молчал, то ли сосредоточиваясь, то ли вспоминая слова, и без предисловия начал:

— «Ясный, зимний полдень... Мороз крепок, трещит, и у Наденьки, которая держит меня под руку, покрываются серебристым инеем кудри на висках и пушок над верхней губой. Мы стоим на высокой горе...»

Я был поражен. Смотрел на тебя и думал: «Как сумел этот похожий на бандита молодой парень, несмотря на годы жестоких испытаний в сталинских тюрьмах и лагерях и здесь в этой штрафной «преисподней», сохранить не только жизнь, но и себя как человека, остаться цельным, уберечь свое сердце от черствости, не дать ему заржаветь в постоянной борьбе за физическое существование на земле?! Как он сумел сберечь в душе своей и памяти одно из самых изящных и грациозных «стихотворений в прозе» — изысканнейший рассказ Антона Павловича Чехова «Шуточка»...

— «...Опять мы летим в страшную пропасть, опять ревет ветер и жужжат полозья, и опять при самом сильном и шумном разлете санок я говорю вполголоса:

— Я люблю вас, Наденька!..»

Опять подступил ком к горлу, и, чтобы не расплакаться и не ввести тем самым в заблуждение относительно причины моей взволнованности (ты мог принять ее на счет своих исполнительских талантов), что было бы неправдой, я остановил тебя, поблагодарил и заверил, что, как только вернусь с бригадой в Усть-Омчуг, непременно доложу о тебе начальству культурно-воспитательного отдела Тенькинских лагерей. Передам твоё желание быть в культбригаде и своё (весьма положительное) о тебе впечатление.

Обед закончился. Звук железяки позвал тебя к вахте, на развод, и ты ушел...

А я еще долго не мог прийти в себя после твоего ухода. Я поклялся самому себе сделать все возможное и невозможное, но во что бы то ни стало вырвать тебя с «Глухаря» пока не поздно! Ведь силы твои небесно-вечны. К сожалению, от меня мало что зависело, — решать будет начальство, но тогда я был убежден, что мне удастся помочь тебе.

САНОЧКИ

Прииск агонизировал.

Все началось полгода назад, летом, когда «Верхний» еще только организовывался. «Верхним» он назывался потому, что находился в самом дальнем, верхнем конце распадка, между сопками, у самых истоков ключа, по руслу которого проходил единственный транспортный путь.

Из Магадана грузы шли по центральной трассе — главной жизненной артерии Колымы до поселка Оротукан; затем по круглогодично действующей дороге на нижний участок прииска «17-й», расположенный в долине, на выходе из распадка, у подножия сопки; здесь дорога кончалась. Дальше десять километров в сопки только пешком или тракторами в сухое время года по высохшему, каменистому руслу ключа до «Верхнего».

На прииске добывали касситерит — оловянный камень. Главный рудный минерал для получения олова.

Шла война. Касситерит был необходим военной промышленности страны. Его добыче на рудниках и приисках Дальстроя придавалось огромное значение — не меньшее, чем добыче золота.

Выполнение плана было равносильно выполнению воинского приказа. Никакие объективные причины срыва в расчет не принимались. С приискового начальства спрашивалось жестко и строго. Оно обязано было отчитываться перед Магаданом ежедневно. В свою очередь, и начальство не давало поблажек своим подчиненным на прииске...

В июле 1942-го из Магадана на «Верхний» было заброшено несколько этапов с заключенными.

Едва разместив людей в наскоро сколоченных бараках и палатках, начальство уже на следующий день по прибытии этапа выгнало всех в забой на работу.

Июль месяц стоял на редкость сухой и теплый.

Производственное начальство прииска, используя благоприятную погоду, усиленно завозило с «17-го» различное оборудование и механизмы. Трактора с груженными санями беспрерывно подвозили все новые и новые грузы...

Лагерное начальство, вместо того чтобы подготовить к холодам бараки, своевременно, посуху обеспечить лагерь необходимым на зиму продовольствием и теплой одеждой, занималось созданием уютных условий жизни охраны лагеря (ВОХРы) да «проблемой» колючей проволоки для ограждения зоны лагеря.

Вся техника — трактора и весь остальной транспорт — дымила в небо соляркой, подвозя стройматериалы для изб охраны и сторожевых вышек («скворечен»), возводимых по всем четырем углам зоны лагеря.

Сама вахта с новыми, пахнущими живой лиственницей воротами была уже гостеприимно распахнута.

Над воротами — во всю их ширь, от столба к столбу — сияла фанерная «радуга», задрапированная присобаченным к ней кумачовым транспарантом: «Труд в СССР есть дело чести, славы, доблести и героизма!»

Однажды уставшее за день солнышко, весь месяц ласково светившее работающим людям, скрашивая их тяжелый подневольный труд, свалилось на закате в огромную лиловую тучу.

Утром, после душной ночи, когда бригады, выстроенные на развод у вахты, разбирали конвой, с серого, как портянка, низкого неба упали первые редкие капли... Погода явно менялась. Начался дождь, равномерно барабана по брезентовым спинам конвоя и пузырясь в образовавшихся на дороге лужах.

Когда бригады дотянулись до забоя и начали нагружать скальной породой тачки и отгонять их в приемные бункера приборов, с неба уже вовсю лились «библейские» потоки...

Поплыли по намокшей подошве забоя деревянные трапы... Ноги с налипшей на них глиной делались стопудовыми, скользили и разъезжались... Грузные тачки заваливались с трапов в грязь, глина липла к лопатам, не вываливалась из тачек... Нечеловеческие усилия требовались, чтобы удержать опрокинутую груженую тачку и не дать ей свалиться в бункер вместе с породой...

Вывокшие, с ног до головы измазанные в глине люди, из последних сил терпели, ожидая минуты, когда конвой поведет их наконец в лагерь, где можно хоть на короткое время укрыться от дождя, обсохнуть и проглотить свой обед...

Но накормить в этот день людей не удалось: залило дождем обеленные котлы, чадили и не разгорались плиты, внутри наспех сооруженной кухни шел дождь...

Здоровьем заключенных расплачивалось начальство за собственное легкомыслие.

Потекли и крыши бараков. Намокли постели. Дневальные круглые сутки шуровали печи. В не просыхавших за ночь «шмотках» — матрацах и подушках, — в одежде, развешенной на просушку вокруг раскаленных докрасна бочек из-под солидола, превращенных в печи, завелись белые помойные черви...

Как и всегда, беда не приходит одна!.. После непрерывного, в течение шести суток, летнего проливного дождя, во время которого работы в забоях не прекращались ни на минуту, вдруг ударили морозы — не заморозки, настоящие морозы с температурой минус 20—25 градусов!

Полуголодные, измученные, больные люди натягивали на себя влажное, дымящееся от пара тряпье, мгновенно становившееся колом на морозе, и брели в этом задувшем панцире в забой отрывать тачки, кайло, лопаты и прочий нехитрый инструмент забойщика, намертво вмерзший в землю.

Самое выносливое существо на свете — человек!

Чего только ему не приходилось преодолевать: голод, холод, болезни, одиночество!.. Зверь гибнет — человек живет! Особенно русский человек!.. Какие только испытания на прочность не выпадали на долю русского человека?! Рабство, нашествия, стихийные бедствия, эпидемии, войны... В руках каких только политических авантюристов не побывал русский человек! Вся история народа российского есть бесконечная борьба за жизнь, за выживание.

Какое-то проклятье нависло и над «Верхним».

Едва только люди свыклись с неожиданными морозами, и у них затеплилась надежда: с «17-го» вышли два трактора с грузом продовольствия и зимних теплых вещей для лагеря, — погода преподнесла еще один сюрприз — налетела пурга!

Налетела внезапно, мгновенно смешав небо с землей.

Шквальный ветер с ураганной скоростью гонял по промерзшей земле сотни тонн колющего, жалающего снега, от которого не было спасения нигде. Снежная круговерть, несколько дней хозяйничавшая вокруг, завалила двухметровыми сугробами все забой и все подходы к ним...

Оказалась забитой снегом и единственная дорога по ключу, откуда шли трактора с продовольствием и обмундированием на помощь попавшим в беду людям.

Каравану не повезло. Он был застигнут в пути ураганной пургой и безнадежно застрял в вымерзшем ключе. Что было полегче (в основном обмундирование) пурга разметала по распадку в разные стороны, все остальное вместе с тракторами и санями с продовольствием похоронила в наметенных завалах твердого, как камень, спрессованного снега, превратив до весны в часть колымского пейзажа...

Когда пурга стихла, была предпринята попытка сбросить продовольствие с самолета, но и она окончилась неудачей: то ли из-за ошибки летчика, то ли из-за плохой видимости груз упал в нескольких километрах от лагеря в сопки. Лишь незначительная его часть угадила на территорию прииска.

Транспортная связь с внешним миром прекратилась. Положение на «Верхнем» становилось все более отчаянным.

Кончались продукты. Уже несколько дней в обеденные котлы бросали для навару пустые мешки из-под муки, чтобы хоть как-то замут-

нить воду и создать иллюзию съедобности. Как ни экономило начальство, сколько ни растягивало остатки муки, сокращая суточную выдачу хлеба до блокадной ленинградской нормы, настал день, когда мука на складе кончилась совсем.

Голод все больше и больше давал о себе знать. Его уже чувствовали не только заключенные. Охрана и вольнонаемные работники также подтянули пояса и сели на непривычный для себя полуголодный паек. Правда, как только стихла пурга, они протоптали пешую тропинку на «17-й» и, благо сил хватало, носили на себе или возили на санках необходимые продукты. Во всяком случае, голодная смерть им не грозила.

Хуже пришлось заключенным. В лагере уже повсюду свирепствовали цинга и дизентерия... Так же как кварц является спутником золота, так и эти болезни являлись постоянными спутниками голода.

Невероятно исхудавшие или, наоборот, распухшие от цинги, пораженные фурункулезом люди жалкими кучками лепились к стенам лагерьной кухни, заглядывали в щели и лихорадочными, воспаленными глазами сумасшедших следили за приготовлением пищи...

Тут же, на этом «толчке», заключались самые невероятные сделки: черпак завтрашней баланды или завтрашний кусок хлеба выменивались на сегодняшнюю очередь за обедом или на сегодняшнее теплое место у печи в бараке... Чудом сохранный окурок менялся на пайку хлеба или, наоборот, — пайка на окурок... Продавалась очередь за пищей только что умершего, но еще не списанного с довольствия товарища... Всё «завтрашнее» не котирировалось — в цене было только сегодняшнее.

В промерзших бараках, на уцелевших «островках» нар, валялись, тесно прижавшись друг к другу от холода, больные голодные люди.

Каждое утро на нарах оставалось несколько умерших («давших дуба») заключенных. Их скрюченные, застывшие тела в примерзших к изголовью шапках стаскивали с нар, волоком тащили за зону лагеря и где-нибудь подальше от людских глаз прикапывали до весны в снег. Кайлить, «выгрызать» могилы в вечной мерзлоте не было сил. Мертвые «сраму не имут», подождут, не обидятся, им не к спеху!

Доски и жерди с освободившихся нар тут же шли в печь. Карабаться за сухостоем на склоны сопок по уши в снегу посильно здорово-му человеку, а их в лагере оставались единицы.

С каждым днем все меньше и меньше способных передвигать ноги заключенных выходило утром на развод к вахте.

Голодный, злой конвой вел их за перевал в сопки на поиски упавших с самолета продуктов. На выходе из поселка, проходя мимо механического цеха, где под навесом стояли железные бочки с техническим солидолом для смазки тракторов и прочей техники, наиболее слабые потерявшие над собой волю и контроль заключенные набрасывались на солидол и, судорожно давясь, запихивали его в рот, стараясь скорее проглотить, пока конвой или бригадир не отгонит их.

Цинга отняла у людей и последнюю волю, валила с ног. Человеком овладевала апатия, безразличие ко всему, покорность судьбе... Приближающаяся смерть уже не пугала, а скорее была желанной. В эту зиму смерть стала привычным, не вызывающим никаких сострадательных эмоций явлением. Из семисот с лишним человек, населявших лагерь, перемимовала только половина.

По весне из-под подтаявшего снега торчали конечности человеческих тел, как бы с мольбой взывая к живым о захоронении по-христиански, в землю. С теплом это и делалось. Заключенные хоронили из милосердия, начальство — по обязанности, из соображений санитарии.

* * *

Снег начался к вечеру и падал всю ночь, оттепельный, набухший, тяжелыми хлопьями ложась на обезображенную землю. Нагое тело мерзлой земли, истерзанное массовыми взрывами, исцарапанное когтями экскаваторных ковшей, вдоль и поперек перелопаченное в поисках золота и касситерита, окуталось за ночь саваном чистого нехоженого снега...

К утру потянуло на мороз... Вызвездило небо. Весь распадок между сопками являл, насколько хватало глаз, царство вечного девственного снега...

Разбросанные по забоям темные силуэты занесенных снегом экскаваторов с вытянутыми в небо хоботами напоминали останки давно умерших доисторических чудовищ...

Ни зверь, ни человек; казалось, никогда не ступали здесь... И только ночью, как бы подчеркивая космическую звенящую тишину ледяного безмолвия, было слышно упругое характерное «бык-пык-бык-пык-бык-пык...» двухтактной «Червонки», выдававшей лагерь тусклый электрический свет, да изредка карканье огромной вещицы — колымского ворона, не к добру зачистившего в эти края...

Но и эти звуки смолкали, едва начинало брезжить на востоке.

«Придет или нет?» Я неотрывно всматривался в занесенную снегом пустынную в свете луны тропинку, протоптанную от бани в сторону вольного поселка. От напряжения и мороза слезились глаза. Отдаваясь тупой болью в висках, где-то под самым горлом нехорошо билось сердце...

«Неужели не придет?» Петляя по пологому склону сопки, тропинка убегала вверх к линии горизонта и исчезала там, растворяясь во мгле предутренних сумерек... Никого.

«Неужели обманет?» Вчера вечером, уходя из бани распаренный и довольный, он пристально оглядел меня с ног до головы и, как бы окончательно решившись на что-то, ему одному ведомое, с усмешкой бросил:

— Ладно. Рано утром зайду за тобой! Жди.

И вот я жду.

Жду, как подсудимый ждет минуты вынесения приговора...

Жду, понимая, что другого выхода у меня нет и не будет никогда.

Вчера судьба неожиданно подарила мне последний шанс. Я обязан воспользоваться им, пока еще на ногах, пока цинга не отняла остаток моей воли окончательно.

Хватит ли у меня сил — стараюсь не думать сейчас. Этот вопрос еще встанет передо мной во всей своей беспощадной яви позже, когда он придет... если, конечно, он придет.

Хватит ли сил?.. Может, и не хватит... Скорее всего не хватит, как не хватило их в прошлый раз, когда я наконец собрался с духом и рискнул пойти.

Тогда, пять дней назад, я переоценил свои возможности, не рассчитал сил. Их оказалось меньше, чем я предполагал. Я посчитал, что меня хватит, если не на все двадцать километров пути туда и обратно, то уж, во всяком случае, на половину — до «17-го».

«Лишь бы добраться до него, — думал я тогда. — Обратно идти будет легче...»

«17-й» являлся тем заколдованным местом, к которому я, подобно Иванушке из русской сказки, стремился во что бы то ни стало, через все испытания и преграды — там ждала меня жизнь!.. Туда пришли две посылки, посланные мне матерью из Ленинграда в 1940 году.

Жизнь, искавшая меня в течение трех лет п/у разным лагерям Колымы и нашедшая в самый критический момент, когда я голодный, потерявший всякую надежду медленно умирал от цинги где-то в Богом проклятом месте, «у черта на куличиках», в заледенелом распадке Оротуканских сопок...

Что это? Стечение обстоятельств? Перст божий, сотворивший чудо?.. Телепатия?! Может быть, и так, конечно, но скорее всего — никакое это не чудо, а просто вещее сердце Матери с его никогда не умирающей верой и надеждой!

О посылках я узнал в один из банных для «вольняшек» дней, когда начальник лагеря зашел в баню попариться с мороза.

— Все еще живой, артист?! — удивился он, увидев меня на обычном месте за горящим бойлером. — Долгожители!.. Хочешь — обрадую? Посылки пришли тебе из Ленинграда. — Новость была настолько невероятна, что я никак не отреагировал.

— Чего не радуешься? — Мое молчание его озадачило. Зная, как быстро начальство меняет милость на гнев, я решил не испытывать судьбу по пустякам:

— А это правда? — сказал я. — Где они?

— На «17-м», где же еще!

— Так пошлите за ними кого-нибудь, гражданин начальник!

Он рассмеялся.

— Кого я пошлю?.. Хочешь жить — сам сходишь.

— Мне не дойти. Вы же сами видите, в каком я состоянии...

— А у меня весь лагерь в таком состоянии...—еще пуще развеселился он.— Вот так-то, артист! Десять километров всего — и ты живой, думай!.. Сходить на «17-й» я разрешаю тебе.

Когда начальник ушел, мне стало страшно. Я понял, что он не шутил,— посылки существовали. Но, к сожалению, пришли они слишком поздно — они опоздали. Про меня, уже не стесняясь, говорили: «Этот — местный!»

Честно говоря, признаки близкого «финиша» я и сам чувствовал — мне было безразлично все!.. Моя песня на этом свете была спета!

Такое состояние испытывает замерзающий, когда физическая боль ушла, покинула тело и человеку стало вдруг неожиданно легко... Лишь бы не тревожили его, не мучили, а оставили бы навсегда в покое...

И вот это смирение перед неизбежностью, в котором я находился и из которого, казалось, ничего уже не могло меня вывести, разлетелось вдребезги. От покоя не осталось и следа.

Сообщение о посылках, ждущих меня всего в десяти километрах, занозой вошло в заторможенное цингой сознание, бередя его, рождая непонятное беспокойство, лихорадочную необходимость сосредоточиться на чем-то, ускользающем из сознания, и действовать, действовать... Я почти перестал спать. Меня мучили видения... Огонек надежды лампадным язычком затеплился во мне и, постепенно разгораясь все ярче и ярче, ширился, растворяя десятикилометровую толщу мрака, которую мне предстояло преодолеть... Там, далеко, на выходе из этого бесконечного мрака, чудились мне луковые и чесночные заросли, меня ждали горы колбасы, сыра, масла... запах хлеба, табака... Я стал галлюцинировать.

Понимая, что шансов добраться до посылок с каждым днем становится меньше и меньше, что надо торопиться, и в то же время сознавая, что сил мало, в последующие несколько дней старался всячески экономить себя. Пообещав банщику поделиться содержимым будущих посылок, уговорил освободить меня от заготовки дров и стирки белья. Правда и неправдами добывал лишний черпак баланды, выторговывал на «толчке» драгоценный кусок хлеба, старался меньше двигаться...

И, наконец, решил.

В этот день ночевать в зону не пошел — остался в бане, благо, разрешил начальник. Последние часы перед выходом хотелось побыть в тепле, еще раз обмозговать все, проверить...

Всего два года назад расстояние в десять километров было сущим пустяком, не стоило и разговора. Находясь в Дуканском леспромхозе, регулярно, два раза на дню, в течение всей зимы совершал эту «прогулку»: утром — в тайгу на трелевку леса, вечером — домой, в лагерь. Но тогда я был здоров. Теперь голод и цинга, настигшие меня, сделали эти километры недостижимыми.

Плохо было с одеждой, особенно тревожила обувь. Лапти или резиновые забойные калоши — другого выбора не было. О валенках и не мечтали; не у всех «вольняшек» они были. Идти в калошах — заведомое самоубийство: не убережешь ноги, поморозишь. В лаптях легче и теплее, лишь бы портянок побольше...

Лыковые «берендеевы» лапти!.. Вам памятник на Колыме полагается! Скольким заключенным спасли вы ноги в горестные зимы военных лет!

Выйти задумал до рассвета. Банщика Липкарта решил не будить, не хотел лишний раз видеть его морду перед дорогой со скептической гримасой неверия в мои силы.

Ушел из бани незаметно, тихо.

Когда мех. цех — последнее приисковое строение осталось за спиной, послал прощальный взгляд лагерю и медленно побрел по лунной дорожке, напоминавшей серебряную ленту фольги, размотанную по голубому безбрежью снега, навстречу восходу солнца, в сторону заповедного «17-го»...

Вскоре начали слипаться, намерзать ресницы. Сплюнул. Слюна на лету превратилась в ледышку — первый признак, что мороз за сорок... Не заметил, как прихватило лоб, щеки.

Все годы пребывания на Колыме больше всего боялся обморозить лицо. Поэтому часто щупал его на морозе, проверял чувствительность, берег... Актер без лица — не актер! И в прямом, и в переносном смысле. Свято помнил это, верил: если суждено остаться в живых, мое лицо мне понадобится. Вот и сейчас, как только почувствовал, что деревенеют щеки, вытянул из-под воротника бушлата обрывок байкового одеяла, заменявшего шарф, обмотал им лицо, оставив наруже только глаза. Пока растирал щеки, пока заматывался и прятал руки в варежки, онемели пальцы...

Мелькнула мысль: «Зря вышел в такой мороз — не дойду!»... В памяти возникли герои книг Джека Лондона: мужественные, сильные, выносливые мужчины, неизменно выходившие победителями из любых, самых жестоких схваток с Севером, если только в их души в критический момент не заползало сомнение. В таких случаях сомнение будило воображение, воображение рождало страх — в результате страх разьедал, парализовывал волю человека.

Надо бы идти быстрее, чтобы согреться, но не слушались, не шли распухшие ватные ноги... Несколько раз оступался, падал... поднимался... Продолжал идти через силу в надежде, что вот-вот появится «второе» дыхание, станет легче. Одышка заставила смириться — явно не срабатывало, не справлялось перетруженное сердце. Когда в очередной раз споткнулся и упал, окончательно понял: придется отдыхать — идти дальше нет сил.

Так и остался сидеть на дороге.

Нежный, хрустальный звон стоял в ушах — утренняя поэмка играла стеклянными иглами изморози, катая их по ледяному насту. Казалось, звучит светлая, как детский хор, весенняя музыка.

Когда немного восстановилось дыхание и унялось сердце, собрался с мыслями, пытаюсь определить, где нахожусь и долго ли шел. Прислушался в надежде поймать знакомое бормотание поселковой «Червонки». Обычно ее хорошо было слышно за несколько километров. Сейчас, кроме звенящей тишины в ушах и собственного свистящего дыхания, ничего не услышал — «Червонка» молчала. Значит, время уже перевалило за семь часов утра.

Светало... По знакомым очертаниям ближних сопок выходило, что отошел от поселка всего-навсего километр-полтора, не больше. Через силу поднялся. Поплелся дальше. Ветер дул навстречу. Одолевал холод. Не было ни одной клеточки тела, которая не страдала бы... Малейшее движение вызывало озноб, приносило мучение. Хотелось съежиться, оцепенеть, забыться... Но всякий раз кто-то невидимый во мне наперекор моей слабости упрямо твердил: вставай, иди, двигайся, двигайся... В этом твое спасение.

По опыту предыдущих зим знал: нет злейшего врага для человека, идущего или работающего на большом морозе, чем жаркий костер и частый «перекур», — только работа и движение, движение... Без конца движение, иначе конец!

Итак, все мои заочные банные расчеты за теплым бойлером полетели к чертям, если за два с лишним часа пути мне удалось одолеть всего только километр с небольшим. Сколько же потребуется времени на весь путь?.. Ответ не оставлял никаких надежд. Получалось, что идти придется сутки — не меньше. Ни физических сил, ни иной энергии преодолеть это расстояние во мне не было.

Что же делать? Идти или возвращаться? Похоже, что любое мое решение уже ничего не меняло. Пойду ли я вперед, или возвращусь, безразлично — конец один. Еще час-другой, и я или замерзну на тропинке, или окажусь в той точке, откуда возвращение назад окажется одинаково невозможным, как и путь вперед. С каждым моим шагом вперед уменьшалась вероятность возвращения.

Да и куда возвращаться? В лагерь? Зачем? Чтобы медленно умереть там? Ведь предчувствие близкого конца и погнало меня, больного, из лагеря в дорогу?..

Мозг мой мучительно переваривал весь этот хаос лихорадочных мыслей и наконец выбросил единственный, безжалостный в создавшейся ситуации ответ: «Возвращайся».

Какое-то время я еще продолжал автоматически передвигать ноги, двигаясь, как автомобиль с выключенной скоростью, потом остановился, медленно повернулся спиной к ледящему ветру и поплелся, спотыкаясь, обратно.

Ни отчаяния, ни жалости к себе я не чувствовал. Скорее наоборот: сознание принятого решения, и ветер, от которого, наконец нашел спасение, подставив ему спину, принесли облегчение.

Отчаяние настигло поздно ночью, когда я, насквозь промерзший и обессиленный, перевалился через порог остывшей бани, ткнулся на свое обычное место между теплым бойлером и стеной и завыл, как собака, почуявшая покойника.

* * *

Прошло три дня. И вот снова начальник лагеря вызвал банщика и приказал топить баню.

Целый день несколько слабосильных зеков скребли, чистили, мыли полы и лавки в парной, грели воду и топили бойлер. Две сорокаведерные деревянные бочки, заменявшие ванны, были наполнены горячей водой. В тайне от банщика мы исполнили традиционный «ритуал» — помоглись в обе бочки, выражая тем самым нашу пламенную любовь к начальству, умудрившемуся за несколько зимних месяцев отправить на тот свет половину вверенных им заключенных.

К вечеру в бане было тепло и чисто.

Начальник лагеря привел с собой оперуполномоченного прииска. Это был высокий худощавый офицер (лейтенант МГБ) с внимательным взглядом темных недоброжелательных глаз. На приисках Оротукана этого человека звали «ворон».

Чем-то он действительно напоминал эту зловещую птицу: блестящая шевелюра иссиня-черных прямых волос, явное пристрастие к черному цвету в одежде лишний раз подчеркивали сходство с элегантной, красивой божьей тварью... Правда, кличка «ворон» прилипла к нему не столько за внешнее сходство, сколько за ту недобрую молву, мрачным шлейфом ходившую за ними по жизни, где бы они оба ни появлялись — ворон и человек. А появлялся он всегда, когда случалось что-нибудь чрезвычайное. Появлялся налетом, неожиданно. Его не любили и боялись.

И исчезал он так же внезапно, как и появлялся. Случалось, вместе с его исчезновением и в лагере становилось на несколько человек меньше...

Родные этих несчастных потом долго и безуспешно разыскивали пропавших. В те годы горемык было столько, что Управление Северо-Восточных Исправительно-Трудовых Лагере (УСВИТЛ) не успевало отвечать на настойчивые запросы родственников. Окончательно запутавшись в местонахождении своих «подопечных», начальство управления лагерей или молчало, или отвечало стереотипной фразой: «В списках живых не значится», что не всегда соответствовало истине.

Шли первые, особенно тяжелые годы войны.

Выполнение плана было главным мерилом в оценке действий начальства. Борьба за план любыми средствами! Не считаясь ни с какими человеческими жертвами — людей хватит! Не хватит — привезут!.. Особенно «врагов народа»... Колыма этим «товаром» снабжалась последние годы регулярно и без ограничений — к этому привыкли все.

Еще только брезжили новые времена перемен, когда станет ясно, что с оптовым расходом людей переусердствовано; и тогда с начальства за допущенный произвол, приводивший к массовым обморожениям, увечьям, к бессмысленной гибели людей в лагерях, будут срывать погоны и привлекать к уголовной ответственности.

Эти времена только грядут, а пока по-прежнему из бухты Находка с началом очередной навигации отваливали корабли с набитыми в трюмы «зеками» и, подобно косякам нерестящейся горбуши, шли курсом на север — в места обжитых «нерестилиц»: в бухты Нагаево, Пэвек, Пестрая Дрясва на Чукотке и прочие..., где и «вымётывали» в лагерь десятки тысяч свежих жертв ненасытному Молоху...

Жестоко, когда политические заключенные содержатся в лагерях вместе с уголовными преступниками, и по-настоящему трагично, когда этими политическими преступниками оказывались в подавляющем большинстве нормальные честные люди. Никакие не преступники, а жертвы! Жертвы пресловутого «культа личности» (так «интеллигентно» преподнесено истории время чудовищной тирании и издевательства над миллионами людей).

Жизнь политических заключенных в таких совместных лагерях оказалась нелегка!..

Помимо прямого произвола лагерного начальства, весь ужас жизни в совместных лагерях усугублялся еще и тем, что все сколько-нибудь ответственные командные места и должности занимали, как правило, уголовные преступники: авантюристы, аферисты, растратчики, взяточники, грабители, воры, нравственные подонки и прочая нечисть... Это они считались «друзьями народа», заслуживающими чуткого, бережного к себе внимания как люди, по ошибке и недоразумению споткнувшиеся об Уголовный кодекс!..

Тогда как ни в чем не повинные перед законом несчастные люди, в основной своей массе не пропущенные даже через «шемякины суды» того времени, а репрессированные заочно Особым Совещанием НКВД СССР (органом, никогда не существовавшим в Советской Конституции), назывались «врагами народа»!.. На их долю в лагерях приходился тяжелый физический труд (ТФТ) и общие, подконвойные работы.

Жизнь такого лагеря была цепью непрерывных чрезвычайных событий: травмы, обморожения, увечья, отказы от работ, саморубство, сопротавления приказам, побег и попытки к ним, бандитизм, убийства, самоубийства, воровство, грабежи и т. д. и т. п.

Все это, как и многое другое, являлось сферой деятельности оперуполномоченного.

В его обязанности входило про всех все знать! Искать криминал. Находить виновных. Наказывать, искоренять, карать... В те недоброй памяти колымские годы глаголы эти были в большой моде.

Оперуполномоченный имел среди заключенных своих информаторов и «сексотов». Они снабжали его сведениями о своих же товарищах. Информация угодная, данная не по долгу совести, а из страха. Кто станет сотрудничать с оперуполномоченным по доброй воле?.. Только слабые или подлые люди, заклеянные презрительной кличкой «стукач».

Лагерь не место соблюдения законности и порядка. Установлением истины заниматься там некому. Страдали и правые, и виноватые. Кто меньше, кто больше, кому как повезет и как взглянется уполномоченному. Одни отделялись карцером, на других заводили уголовные дела. Нередко — по статье за контрреволюционный саботаж. (Статья, применяемая за проступки, повлекшие за собой потерю трудоспособности, пусть даже временную.) Подсудным всегда оказывался пострадавший.

Суровое наказание следовало за обнаруженное в зоне лагеря печатное слово — книгу или (не дай Бог!) газету. В этих случаях «виновный», особенно если он сидел по политической статье, исчезал с концами.

С весны 1943 года на «пяточке» каждого колымского лагеря, где проходили утренние разводы и вечерние проверки, в обязательном порядке начальству вменялось в обязанность вывешивать на специальных стендах для прочтения заключенными все центральные газеты страны!

Менялось время! Менялась цена человеческой жизни. Эхо победной битвы за Москву и под Сталинградом докатилось, наконец, и до Колымы.

* * *

Начальство явилось навеселе. Оба оживленные и разговорчивые. Вокруг них вовсю «шестерил» Липкарт. Услужливо помогал раздеваться, расстилал под ноги простыни, сутился... Увидев меня у бойлера, начальник изобразил на лице радость:

— С возвращением, артист!.. Как жизнь молодая? — Слово «артист» ему явно нравилось. В его представлении я был чем-то вроде клоуна.

— Подвел ты меня, артист, ох, как подвел!.. Я, можно сказать, поставил на тебя... побился об заклад с лейтенантом, а ты взял и обманул меня... Нехорошо!.. Я говорю ему: — он показал рукой на уполномоченного. — Пойми, говорю, у него нет другого выхода, он должен прийти!.. Иначе подохнет здесь — он это понимает!..

— Это я про тебя... а он мне свое: «Один не дойдет — замерзнет!» — Плохо, говорю, ты знаешь артистов!.. Они народ особенный, двуличный!.. Так что случилось?.. Почему вернулся?

Я молчал. Уполномоченный с иронической улыбкой внимательно смотрел на меня. — «Оставили бы вы меня все в покое, — думал я. — Ну, чего привязались?».

— В чем дело, артист? — Начальник повысил голос. — Ты меня слышишь?

Я утвердительно кивнул головой.

— Отвечай, как полагается, когда тебя гражданин начальник спрашивает! — Накинулся на меня Липкарт. — Почему вернулся с полдороги?

«И этот все еще не может смириться с потерей обещанной ему доли в посылках», — подумал я...

— Почему? — не отставал начальник. — Силенок что ли не хватило, да?.. Испугался замерзнуть?

Не глядя на него, я молча кивнул.

— Забрали бы вы его от меня, гражданин начальник; видите, он уже «фитилит!» — услышал я голос Липкарта.

И как я ни крепился, слезы все больше и больше застилали глаза. Я низко опустил голову, пытаясь сдержать их, не смог и впервые после возвращения беззвучно заплакал.

— Ну все, — местный! — Махнул на меня рукой начальник, давая понять, что сеанс общения закончен, отвернулся и, стянув с себя нижнее белье, с веселыми «охами и ахами» полез в бочку с горячей водой. Его примеру последовал и уполномоченный.

...Они веселились, поочередно бегали в парную, с хохотом обливали друг друга ледяной водой, «травили» анекдоты, с наслаждением пофыркивая в своих бочках, обсуждали предстоящие дела...

...Я тихо скулил в своем углу, обняв теплый бойлер, следить за которым, судя по всему, была моя последняя обязанность на этом свете.

Из обрывков их разговоров, долетавших до меня, я понял, что утром уполномоченный отбывал в Оротукан, в управление.

Я и теперь не могу объяснить свое поведение в тот момент: фантастическая мысль зародилась у меня в мозгу: «А что, если попроситься вместе с ним? Ведь путь его обязательно будет проходить через «17-й», другой дороги не существует?!»

Я понимал всю безнадежность моей мысли, понимал, что своей фантастической просьбой вызову лишь презрительную усмешку, и все же с непонятной самому себе решимостью, решимостью отчаяния что ли, выбрал момент, когда они, надев полушубки, докуривали послебанные сигарки, подошел к уполномоченному и, глядя ему прямо в глаза, тихо сказал:

— Гражданин начальник! Возьмите меня с собой до «17-го».

* * *

Он появился, как и обещал вчера, перед самым рассветом с последними тактами «Червонки», когда над вахтой лагеря медленно угас электрический фонарь.

Легко подпрыгивая на неровностях тропинки, за ним бежали детские саночки, то обгоняя хозяина, то, наоборот, застревая в наметанном

снегу... Он легко дергал за веревку, привязанную к санкам, и те опять весело устремлялись под горку... На санках лежал маленький чемодан — обычный дерматиновый чемоданчик; в городах с такими ходят в баню или носят завтрак на службу.

«Зачем ему санки?» — подумал я. — Такой чемоданчик проще нести в руках...»

Был он в форме.

Поскрипывали по утреннему морозу фетровые с отворотами светлые бурки... Распахнутый, подогнанный по фигуре черный полушубок ладно сидел на нем, — видно, лагерный портной очень старался угодить. Оперуполномоченный был крут. Вызвать его неудовольствие или гнев считалось рискованным — за это можно было поплатиться добавкой к сроку, а то и жизнью.

Я думал: «В каких закоулках человеческой души или сознания добро научилось уживаться со злом, милосердие с жестокостью? Все слилось воедино, все перемешалось... Иначе какими доводами разума можно объяснить, сопоставить вчерашний поступок уполномоченного с его же поступком полгода назад?..»

...Тогда, во время вечерней поверки, из строя заключенных неожиданно вышел высокий человек и, глядя в упор на уполномоченного, заявил протест против бесчеловечного обращения с людьми, против издевательств, жестокости и произвола, творимого лагерным начальством...

Такое, конечно, не прощалось. Ночь он просидел в карцере. А утром уполномоченный, сидя верхом на лошади и иступленно размахивая нагайкой, на глазах у всего лагеря угонял непокорного в следственный изолятор «17-го»...

С советским разведчиком Сережей Чаплиным мы были сокамерниками в ленинградских «Крестах»,... товарищами по этапу на Колыму, напарниками на таежных делянках Дукчанского леспромхоза, где два года кряду выводили двуручной пилой один и тот же мотив: «тебе-себе-начальнику...»

Когда началась война и нас этапировали в тайгу на прииски, мы поклялись друг другу: ...тот из нас, кто уцелеет во всем этом бардаке и кто вернется домой, должен разыскать родственников другого и рассказать им все, что знает.

Суждено было остаться в живых мне одному — Сережа погиб. Я выполнил данное ему слово. Разыскал его родственников. Беседовал с его дочерью. Родители называли ее Сталина (какая жуткая ирония судьбы!!!)

Ушел из жизни редкого мужества гордый человек, достойный за свое благородство и смелость самых высоких наград и почестей! Его «отблагодарили» по-своему и сполна!!

Преступно осудили по статье 58. I-а за измену Родине. Позорно предали, предали в своих же Органах НКВД, офицером которых он был и которым служил, как настоящий коммунист, беззаветно и рыцарски честно всю свою недолгую жизнь!

Время, великое мудрое время в конце концов расставило все и всех по своим местам!.. Время восстановило светлую память о нем. После смерти Сталина его реабилитировали полностью. О Сергее Чаплине написана книга. Честная книга. Увы — посмертно!

Сегодня мне предстояло повторить последний путь моего друга. Повторить в той же компании, только на этот раз человек, спускавшийся сейчас по тропинке со своими саночками, был пеший... и без нагайки.

«Только бы не передумал», — шептал я про себя, как заклинание, глядя на подходившего ко мне уполномоченного...

Он остановился, без обычной своей иронической улыбки хмуро оглядел меня, как бы прикидывая, на что я гожусь, раздраженно пнул ногой саночки и полез в карман за махоркой... Саночки покатались было, но, ткнувшись в стену бани, встали... Щелкнула зажигалка, он закурил...

Предчувствие не обмануло меня — он колебался. «Только бы не передумал», — причитал я, стараясь унять нервную дрожь и боясь взглянуть на него, — сейчас все должно решиться, только бы не передумал».

Словно угадав мои мысли, уполномоченный прервал молчание:

— Значит так!.. — Он сделал несколько затяжек и протянул окурочек мне. — Кури и слушай!.. Я болван, что связался с тобой, полный болван!.. На хрена ты мне сдался вместе со своими посылками!.. В гробу я их видел. Ты думаешь, я не понимаю, на что подписываюсь?.. Думаешь, не вижу, какой из тебя «ходок» сейчас?.. Все вижу и все понимаю, но только... только не люблю менять своих решений, не люблю!.. Такой уж я человек! — Он помолчал, собираясь с мыслями, и продолжал:

— Слушай меня внимательно: пойдешь следом за мной. Идти буду не торопясь, нормально... Но предупреждаю — не отставать! Отстанешь — пеняй на себя, уйду! Ждать не буду. Цацкаться мне некогда!.. Пойдешь один или останешься подышать на дороге... Отдыхать сядешь тогда, когда я скамандую, не раньше. Никакой самодеятельности — иначе уйду! Подходят мои условия? Сдюжишь?!

От нескольких затяжек махоркой у меня все поплыло перед глазами, словно уполномоченный разговаривал со мной, сидя на вертящейся карусели... Уже много месяцев в лагере не было ни крошки табака... Боясь упасть, я прислонился спиной к углу бани и, кое-как справившись с головокружением, ответил:

— Постараюсь.

— Тогда все, — подытожил он. — Тронулись!

И мы пошли.

Он как лидер впереди с саночками, я за ним...

Три дня назад природа сопротивлялась моему бессмысленному походу в одиночку: она обрушила на землю пятидесятиградусный мороз с поземкой и ледяным ветром и заставила в конце концов внять себе и вернуться...

Сегодня сама улыбалась и подбадривала... Одарила ясным, безветренным утром, поддурманив его слегка бодрящим морозцем!.. Тропинку под ногами застелила мягким ковром ночной пороши — так хорошо,

хоть песни пой!.. В голове, как птица, залетевшая в комнату, забились не к месту привязавшаяся фраза: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!..», сочиненная дуэтом талантливых остроумцев.

Расстояние между лидером и мной стало увеличиваться. Несколько раз обернувшись, уполномоченный сбавил темп, пошел медленнее...

...«Лед тронулся, господа присяжные заседатели!..»

Впервые за последние три дня вдруг, чуть ли не до рвоты захотелось! Опять стали мерещиться посылки... И чего только в них не было?! В который раз смакуя, я перебирал в руках содержимое... Все, что я любил когда-то на «воле», укладывал в них, сортируя и отбирая продукты с расчетом на предстоящее долгое путешествие. Любимая рыба горячего копчения, севрюга, осталась дома — в посылку упаковал воблу (над ней время не властно)... насладившись запахом полубелого хлеба с тмином и изюмом, решительно заменил его сухарями... Мясо не взял — только твердокопченую «салями» (она прочнее) и сало... Украинское сало... с розовой прожилкой, тающее во рту... Как и предполагается, все углы посылок забил чесноком и луком... Сахар брал только колотый, от «сахарной головы» — он слаще. Не забыл, конечно, и табак! Папиросам предпочел сигареты и махорку, объем тот же, а табаку больше... Мороженое... при чем тут... мороженое??

С ходу налетев на что-то непонятное, я ткнулся лицом в снег и... опомнился. Надо мной стоял уполномоченный и вытягивал из-под меня опрокинутые санки..., посылки исчезли.

— Ты чего? — Он подозрительно смотрел на меня. — Что с тобой?

— Ничего, простите. — Выплывая из-под рта снег, я с трудом поднимался.

— Где то место, откуда ты вернулся, дошли мы до него?

Я обернулся в сторону лагеря: сопка, которую мы обогнули, заслонила собой «Верхний» и весь пройденный нами путь. Впереди тропинка вилась вдоль крутого берега ключа и примерно в километре по ходу терялась в кустах полежавшего в снег стланика.

— Мы прошли то место, — сказал я.

— Да? Уже хорошо. Двинулись дальше... Дотянем до тех кустов, — он показал рукой в сторону стланика, — перекур! — И потянув за собой санки, не оглядываясь, легко зашагал вперед, на ходу крикнув: — Не отставать!

Я медленно поплелся за ним.

«Не отставать! — Легко тебе говорить, ты здоров, как лось!.. А мои силы кончаются, вернее не кончаются, а кончились... и кончились давно. Когда ты диктовал мне свои условия, уже тогда их не было... А если быть до конца честным, их не было и вчера в бане, когда я напросился к тебе в компанию... И ты догадывался об этом, ведь так?.. Поэтому и колебался, но все-таки решился и взял меня с собой... Почему?.. Ответ почему? Не можешь ответить, а я знаю!.. Потому что вчера в тебе проклюнулся человек! Впервые, вдруг, неожиданно для тебя самого... И ты испугался, растерялся, не знал, как поступить с этим новым

для тебя чувством: задушить ли его в зародыше, пока не поздно, или позволить терзать душу и дальше, не давая ей очерстветь окончательно... Вчера в тебе взял верх человек, победило милое сердце!.. Не понимаешь, о чем я?.. О милосердии. Что это такое? Потребность души прийти на помощь любому, кто в ней нуждается. Почитай Федора Михайловича — поймешь! Кто такой?.. Где сидел? Сидел в Сибири, в «Мертвом доме». Тоже политический? Да. Писатель. Федор Михайлович Достоевский. Не знаешь такого?.. Немудрено — он умер около ста лет назад — иначе не миновать бы ему знакомства с тобой... Ну, что ты замолчал? — Не молчи — говори, спрашивай! О чем хочешь спрашивать, только не молчи, иначе я упаду... О господи, как я устал!..»

Я стал считать шаги — переводил их в метры... Еще десяток, и конец, и я подниму глаза от дороги... Одолев эти метры, я давал себе новый зарок... Я боялся поднять глаза и не увидеть его. Только надежда, что он ждет меня, а не ушел, как грозился, и удерживала меня на ногах... Нельзя, чтобы человек остался один!.. Нельзя!..

Шатаясь из стороны в сторону, я добрался наконец до кустарника.

Совсем рядом, поперек тропинки стояли саночки. На них сидел уполномоченный и, прищурясь, внимательно наблюдал за моими зигзагами на дороге. Из последних усилий я доковылял до него и рухнул в снег возле саночек, все.

...Очнулся на санках. Уполномоченного не было. На снегу лежал его полушубок, на нем — кисет с махоркой и спички... Свежие следы вели в сторону от тропинки, в кусты... (понятно). Осмотрелся — это место было хорошо знакомо.

Еле-еле поднялся... Двинулся дальше.

Сознание ясно, а ноги не слушаются... Не хотят, не могут больше идти мои когда-то сильные, легкие ноги. Не чувствую я их, не мои они сейчас — огромные, как под наркозом, стопудовые, чужие... Кончается, видно, моя власть над ними... А сознание приказывает — иди! Заставь ноги двигаться. Не жди его. Нельзя, чтобы он видел твою беспомощность. Пусть знает: ты борешься до конца! Ты — сильный! Такие, как он, уважают силу. Заставь его уважать тебя, и он не уйдет, не посмеет уйти один... Да, он жесток!.. Но не только... Он может быть и милосердным — сегодня ты уже дважды убедился в этом... «Что посеешь — то и пожнешь!» Добро и зло всегда рядом, всегда вместе... Познать человека до конца невозможно!..

Когда уполномоченный нагнал меня, я еще держался на ногах.

— Ты почему сбежал от меня?

Я тупо смотрел на него, пытаюсь отдышаться. В голове звенело. Плясали разноцветные круги в глазах, не хватало воздуха... Силась ответить, я лишь бессвязно и неразборчиво промычал что-то.

— Ладно, — он подкатил ко мне саночки, легко ткнул в плечо, и я плюхнулся на них, — сиди, отдыхай.

Распутав веревку и сняв с санок чемоданчик, извлек из него еду: горбушку хлеба, кусок сала, пару луковиц... Выложив все это богатство

на крышку чемодана и разделив по-братски, одну половину подвинул мне, за другую принялся сам, примостившись рядом на санках. В один миг, как «чайка соловецкая», я проглотил, почти не разжевывая, неожиданно свалившееся на меня счастье!.. И только после того, как доел последнюю крошку, в полную меру ощутил настоящий, лютый, дремавший во мне до поры голод. Будь силы, я, кажется, отнял бы у этого человека, разделившего со мной пищу, его долю. И ничего бы меня не остановило!.. Никакие угрызения совести, — настолько чувство звериного голода завладело мной. Я ненавидел его сейчас!

А он, не подозревая моих мук, аппетитно похрустывал луком, неторопливо и со смаком пережевывал пищу...

Наконец, покончив с едой и закулив, он протянул кисет мне. Оторвав листок бумаги на закрутку, я пытался насыпать в него табак и не мог — дрожали руки, не слушались, не сгибались пальцы... Кончилось тем, что уполномоченный забрал кисет, сунул мне свою горящую сигарку, а себе стал сворачивать новую...

Стоило только затянуться, как все повторилось: он снова оказался на «карусели»... Опять перед глазами все поплыло... Разом исчезли: усталость, болезни, невзгоды... Стало легко и приятно..., хотелось, чтобы это забытие никогда не кончалось. Великая сила — табак! Великий наркотик!.. Но похмелье всегда неизбежно. И оно, как правило, горько.

— Что будем делать дальше?

— Не знаю... Что хотите. Не знаю. Спасибо вам за хлеб.

— Идти можешь?

— Не знаю.

— А кто знает, я что ли?

— Кажется, не могу... Не знаю. Ноги не ходят.

— Ты брось свое «не знаю»! — Он начинал сердиться. — Я предупреждал — уйду!.. Некогда мне возиться с тобой, понял?

Затоптав в снег окурок, он решительно поднялся.

— Или оставайся один, или идем, я жду!.. Давай, давай, поднимайся!

Встать с санок без его помощи оказалось не так-то просто. Пришлось сначала вывалиться в снег, перекантоваться на четвереньки и только потом, раскачиваясь, постепенно перемещая центр тяжести к ногам, удалась попытка.

Все это время уполномоченный с раздражением наблюдал за моим «цирковым номером»...

Что ж! Пусть — я не симулирую, не ловчу и не выпрашиваю помощи!

Где-то я понимал и его: не всякий здоровый человек, тем более — мужчина, может быть «сестрой милосердия», да еще по отношению к заключенному, «врагу народа»...

Уполномоченному надоело смотреть на мои упражнения, он водрузил чемоданчик на санки, привязал его и, повернувшись ко мне, сказал:

— Все. Я ушел. Некогда мне с тобой!.. На «17-м» предупреджу охрану, — скажу, где находишься. Мой совет: хочешь жить — не стой, двигайся!

И он ушел. Я смотрел ему вслед.

Дойдя до места, где тропинка делала поворот, «ворон» обернулся и крикнул:

— До «17-го» осталось меньше пяти километров. Не стой, артист, двигайся!..

«Спасибо за совет — я непременно ему последую, как только ты скроешься за поворотом. Я не уверен, что этот трюк «двигайся» сразу у меня получится. Не хотелось бы репетировать его на публике... Мои ноги сейчас — не мои — чужие, все равно, что протезы, а на протезах сразу не ходят, на них сначала учатся... Мне, к сожалению, времени на учебу не отпущено...»

Я сделал шаг, другой, третий... Снова резанула боль в паху. Почему-то в паху ноги болели особенно... Ничего, к боли можно привыкнуть, притерпеться — главное, не спешить, не торопиться и не упасть. Это — главное — не упасть!..

Как он сказал?.. «До 17-го» осталось меньше пяти километров!! — Как будто я не знаю, сколько осталось!.. Этот «пятый километр» (где я сейчас припухаю) мне памятен. На том свете я не забуду его! Здесь в меня стреляли однажды... Надо же, мистика какая-то!.. Судьба опять привела на это роковое место — нарочно не придумаешь!.. Пятый километр... Лето сорок второго...

Тогда, на «17-й», нас выгрузили из автомашин и передали местному конвою. Цепочкой по одному конвой повел пешим строем на «Верхний». На пятом километре тропинка увела этап в заросли стланика. Ветки были сплошь усеяны молодыми шишками — в то лето случился урожай кедровых орехов. Меня так и подмывало сорвать шишку, но я боялся конвоя, да и шишки висели далековато... Наконец, уже на выходе из зарослей, заметил роскошную шишку, висевшую рядом с тропинкой, не удержался от соблазна и вышел на несколько шагов из строя, чтобы сорвать ее... Раздался выстрел. Я быстро обернулся: шагах в пятнадцати позади комендант целился в меня с локтя из пистолета. Не дожидаясь, когда он снова выстрелит, я упал... «Полтора-Ивана» (так звали коменданта за его огромный рост) подбежал и своим сапожиком перевернул меня на спину. Я растерянно глядел на него во все глаза... «...Твою мать, промазал!», — выругался он, поняв, что я живой. «Не тушуйся, комендант, в следующий раз попадешь», — с дурацкой улыбкой посочувствовал я ему. Обычно в таких случаях комендант жестоко избивал жертву, — не одна загубленная жизнь значилась на его совести, — но на этот раз произошло что-то необъяснимое: он, как загнипнотизированный, долго и странно смотрел мне в глаза, выражение лица его постепенно становилось все более и более нормальным, человеческим. На глазах у всех «Полтора-Ивана» из злодея превращался в доброго «Дядю Степу»... Он

осторожно снял ногу с моей груди и, беззлобно пробурчав: «Становись в строй», растерянно и как-то виновато даже отошел.

С того дня комендант возлюбил меня прямо-таки, как Парфен Рогожин князя Мышкина. Я стал его «крестником». Едва завидя, издали кричал: «Крестник! Давай сюда, покурим!» Делился последней сигаркой, не позволяя ВОХРе обижать беспричинно, когда я заболел цингой, сочувствовал, утешал...

Кончил «Полтора-Ивана» плачевно. В разладе с собой и начальством. На Ноябрьские праздники загулял, да так, что не мог остановиться чуть ли не до Нового года; поскандалил со своим начальством, в пьяной драке изувечил двоих своих же «вохровцев» (рука у него была тяжелая) и угодил под трибунал — его под конвоем спровадили с «Верхнего». Размышляя о судьбе незадачливого коменданта, я одолел пятый километр и выбрался наконец из зарослей стланика на равнину. Дальше тропинка, почти не виляя, бежала с легким уклоном в долину, до самого «17-го».

Пройдя еще несколько десятков метров, я упал, все-таки упал... Итак, около шести километров позади. Впереди осталось четыре, чуть больше... Чуть больше, чуть меньше — уже не имеет значения — свой путь я прошел! Свое «горючее» сжег дотла — мои баки пусты, и резерв исчерпан, — дальше идти не на чем, ни сил, ни самолюбия — все израсходовано... Кто-то сказал: «Нет сил жить, и даже отчаяние мое бессильно!»... Мое «отчаяние» помогло мне каким-то образом снова встать на четвереньки, изготавиться к очередному «старту»; я начал было уже раскачиваться, чтобы подняться, и в этот момент увидел подходящего ко мне уполномоченного. «Вот это да! Вернулся-таки!.. Выходит, не подвела меня интуиция, не обманула — есть Бог на свете!»...

Я не мог скрыть радость, охватившую меня, заулыбался, но встать на ноги, как ни старался, не смог — так и встретил своего спасителя на четвереньках.

С мрачным видом подойдя ко мне, он, ни слова не говоря, приподнял меня за шиворот из снега и усадил на санки. Чемоданчик переложил в ноги и крепко-накрепко прикрутил нас обоих веревкой.

Я не сопротивлялся. В моей душе сейчас победно пели ангелы, торжественно звучала суровая музыка Пятой симфонии Бетховена, исполняемая сводным оркестром всех лучших симфонических оркестров мира!

И тут уполномоченного прорвало:

— Чего улыбаешься, чего «лыбишься», фитиль несчастный!.. Думаешь, жалко тебя стало? Нужен ты мне очень, артист... Посмотрел бы ты на себя, какой ты артист!.. Артисты в Москве, в Большом театре поют, а не на Колыме вкалывают... Спасибо скажи, что на меня дурака попал, а не на кого другого!.. Надо же! Расскажи кому — не поверят!.. Впрягся, как конь в упряжку, и тащу его, гада, контрика, — драгоценность какая, самородок!.. Брось улыбаться, говорю! Доулыбаешься, что брошу к чер-

товой матери или пристрелю, как собаку, — навязался на мою шею, интеллигент...

Все оставшиеся до «17-го» километры он материл меня последними словами [то проклиная, то угрожая]. Не щадил и себя, клял за минутную слабость в бане, с которой, по его словам, все и началось...

Еще вчера он понял, что никаких физических сил пройти десять километров во мне нет, что моя просьба была чисто волевым всплеском, последней надеждой человека, стоящего на грани жизни и смерти... Он предвидел вариант, что, возможно, ему самому придется тащить меня живого или мертвого... и все-таки пошел и на это.

Вот, значит, зачем ему понадобились саночки, вот зачем он захватил их. Какие слова способны объяснить этот поступок? А «Полтора-Ивана» с его проснувшимся, неуклюжим милосердием?! Его дремучий бунт против всех и вся?! Кто может исследовать, найти объяснение причинам неожиданной трансформации в психике людей — в этой бесконечной войне Добра и Зла?

...Мы приближались к финишу. Санки бежали под уклон легко и весело, как бы в тайном союзе с моими желаниями. Иногда, правда, соскользнув с тропинки, они глубоко проваливались в снег, — уполномоченный тут же чертыхался и награждал меня очередной порцией мата.

Я неотрывно смотрел вперед — во мне пели ангелы! С каждой минутой все торжественней и громче!..

Наконец, я увидел должженный ориентир всякого колымского поселения — сторожевые охранные вышки и колючую проволоку...

Неподалеку от лагерной вахты уполномоченный остановил санки, распутал веревку, выматерился напоследок в мой адрес, закурил... Мы финишировали.

— Спасибо, гражданин начальник! — сказал я.

Игнорируя мою благодарность, он направился в помещение рядом с вахтой, на двери которого красовались три огромные нарисованные буквы — МХЧ (материально-хозяйственная часть); уже от двери, обернувшись, приказал:

— Жди меня здесь, — и скрылся.

Как собака неотрывно смотрит на дверь, в которую ушел ее хозяин, приказав ей «сидеть!», так и я сейчас, ничего вокруг себя не видя, смотрел на МХЧ с надеждой и страхом и ждал возвращения уполномоченного. Вскоре он вышел, держа в руках два фанерных ящика, обшитые серым полотняным материалом, изрядно заштемпелеванные, с остатками сургучных печатей по стенкам, мои посылки...

— Забирай свое наследство! — Он поставил посылки у моих ног.

Наконец-то! Остался позади десятикилометровый тоннель между жизнью и смертью... Ценою нечеловеческих усилий я одолел его!.. Вот они — два ящика у моих ног — в них все!.. Мое спасение, моя жизнь! — Они мои! И никто не в силах отнять их у меня!

В жизни каждого человека бывают поступки (главные поступки его жизни), которыми он гордится или, наоборот, которые презирает, стара-

ясь скорее забыть... В моем положении поступил я тогда единственно правильно — я сказал:

— Гражданин начальник! Спасибо за все, но я вас прошу, сделайте еще одно доброе дело...

— Какое еще дело? — Недовольно спросил он.

— Отдайте посылки охране и прикажите не выдавать их мне... хотя бы в течение трех суток... Пусть несколько дней дадут мне понемногу, порциями, понимаете?..

Уполномоченный серьезно посмотрел мне в глаза и впервые, кажется, по-человечески искренно сказал:

— Вот за это — молодец!.. Смотри-ка, сколько в тебе силы, оказывается!.. Сколько характера сохранилось,.. молодец! Теперь верю — жить будешь!.. Я догадывался, что ты мужик крепкий, жаль, что контрик.

— Никакой я не контрик!

— Ладно — не агитируй! Пошли.

Он подхватил обе посылки и быстро зашагал к вахте. Когда меня позвали зайти в помещение, на столе лежали обе мои посылки. В комнате находились два дежурных вохровца. Распоряжался уполномоченный.

— Вскрывай! — Приказал он одному из вохровцев и, показав рукой на меня, представил: «Этот фитиль с «Верхнего».

Пришел за своими посылками. Три дня не давать ему их!

Как бы ни просил — не отдавать! Кормите понемногу, раза три в сутки, чтобы не случилось с голодухи заворота кишок, понятно? Учтите: он сам об этом попросил — боится за себя. Посмотрим, что там сохранилось? Сколько времени шли посылки?»

Охранник повертел ящики, но никакой даты не нашел.

— Ладно, пойдем и так, — сказал уполномоченный. — Режь! Вся сцена напоминала операционную, с главным «хирургом» — уполномоченным во главе.

Охранник вспорол обшивку, подковырнул несколько раз верхнюю крышку и вскрыл посылку.

Вытащить из нее ничего не удалось, кроме чудом сохранившейся описи, прилипшей к фанерной крышке. В ней перечислялось содержимое и количество каждого продукта.

Все, что было в посылке, а именно: сахар, колбаса, сало, конфеты, лук, чеснок, печенье, сухари, шоколад, папиросы «Беломор», вместе с оберточной и газетной бумагой, в которую был завернут каждый продукт, за время трехлетнего блуждания в поисках адресата перемешалось, как в стиральной машине, превратилось в единую, твердую массу, с сладковатым запахом гнили, плесени, запахом табака и конфетной парфюмерии... Все пропиталось жиром и табаком, засахарилось...

Такая же картина повторилась и в другой посылке, с той только разницей, что там к содержимому добавились пара шерстяных носков и варежки.

— Н-да!.. — Удивился уполномоченный, — это называется поел, покурил и газетку почитал!.. И все зараз, в один присест. Что будем делать? Выбрасывать, или?.. Распоряжайся, ты хозяин!

Охранники с брезгливым любопытством наблюдали за мной. Я подошел к столу, откромсал ножом кусок и тут же при всех, почти не разжевывая, торопливо проглотил, не разбирая ни вкуса ни запаха, словно боясь, что кто-то может помешать или отнять у меня «это»...

Состояние потревоженного голода, проснувшегося в человеке при виде пищи, сравнимо разве что с состоянием алкоголика или наркомана.

Страдал и я. Муки голода, на которые я добровольно обрек себя, отдавая на трое суток посылки, были мучительны. Я готов был сейчас наброситься на посылки и есть их, есть, есть без конца. Истощенный организм не считался ни с чем, ни с какими доводами и предостережениями разума...

И все-таки, к разочарованию сытых, жаждавших представления охранников, я нашел в себе силы удержаться от соблазна и, ни на кого из них не глядя, вышел за дверь вахты. Инстинкт самосохранения и на этот раз взял верх!

В памяти еще жив был трагичный случай с одним бедолагой... В разгар промывочного сезона на прииск «Пионер» пожаловал целый оркестр заключенных музыкантов, человек двадцать (поощрительная мера Культурно-воспитательного Отдела МАГЛАГ а прииску, выполняющему план). Начальство лагеря распорядилось покормить музыкантов с дороги. В барак, где они расположились, повар принес противень селедок — по штуке на каждого. Музыканты в лагере — каста привилегированная, сытая — селедками их не ублажишь, никто есть не стал. Весь противень отправили обратно на кухню, с каким-то подвернувшимся доходягой. Тому, конечно, и не снилась такая удача!.. Человек он был приморенный, голодный, — характера удержаться от соблазна не хватило, и он съел, вернее, проглотил все двадцать с ледок в течение нескольких минут. Заворот кишок не заставил себя ждать. Жутко было видеть, как изо рта этого бедняги перед смертью, когда начались спазмы, выскакивали одна за другой селедки... Невероятно, как он ухитрился глотать их целыми?!

Наконец, из дверей вахты снова появился уполномоченный вместе со старостой лагеря.

— Сколько сейчас времени? — спросил я.

Он пристально посмотрел мне в глаза и сказал:

— Сейчас только три часа — не беспокойся, тебя покормят сегодня еще раз, вечером, — терпи. — Замолчал, задумался, с иронической усмешкой оглядел меня еще раз и изрек:

— Значит так!.. Останешься здесь на трое суток, пока не придешь в себя и не «оклемаешься». Староста укажет место в бараке и выдаст пайку. Санки заберешь — это мой подарок тебе за характер! Пригодятся, когда будешь возвращаться на «Верхний»... Все! Я уехал. Прощай, артист!.. Может, когда и встретимся в жизни. Чем черт не шутит!

«Ворон» сдал меня подошедшему старосте и ушел... исчез, загадав мне на всю жизнь загадку: «что же такое есть человек?»!

Так мучительно долго еще никогда не тянулось время, как в эти последние трое суток. Ни лежать, ни спать я не мог,— животный инстинкт гнал из барака к вахте, поближе к посылкам. Я окончательно потерял контроль над собой: не доверял охранникам, боялся, что они или выбросят посылки, или скормят собакам. Как волк из засады, следил за каждым, кто заходил на вахту... Когда подходило время получать очередную порцию, я умолял отдать мне все,— уверял, что я уже в порядке, клянчил, плакал, угрожал, оскорблял, кричал «фашисты!», грозился выбить стекла в окнах, бил кулаками в дверь, в стены вахты, скулил от бессилия.

Спасибо охранникам!.. Они не поддались на мои «провокации» и в точности выполнили приказ уполномоченного. На мое счастье, у них хватило и нервов, и добродушия... Когда же им становилось особенно невтерпёж, они просто брали меня за шиворот и оттаскивали, как щенка, в снег, подальше от вахты...

Наконец наступил долгожданный день — трехсуточный «карантин» кончился!..

К недоумению вахтеров, за посылками я не явился!! Уже закончился утренний развод в лагере,— бригады вышли на работу, а меня все нет и нет... Послали старосту узнать, в чем дело, куда я мог подеваться. Никуда я «не подевался» — староста обнаружил меня в бараке, на своем месте — я спал!.. В самый критический, кризисный момент физической и нервной истощенности мое подсознание (самый безошибочный диагностик) пришло мне на помощь, сделав выбор между сном и пищей. Я спал глубоким, живительным сном праведника! Так спят тяжелобольные, переболевшие болезнью. Так, наверное, спали вывезенные из блокадного Ленинграда спасенные дети — наступил кризис. Когда староста разбудил меня, впервые за эти горестные месяцы я почувствовал в себе слабый огонек надежды, впервые поверил, что буду жить!

...Когда «17-й» окончательно скрылся из глаз и перестали быть слышны: скрежет транспортной ленты, человеческие голоса и пыхтение паровых экскаваторов... когда в безбрежии сияющего на все четыре стороны, слепящего снега воцарилась тишина, я остановился отдохнуть, мне захотелось есть...

Весеннее солнышко уже давало о себе знать — было тепло и клонило в сон... Но теперь я уже вполне владел собой. Я сидел на санках и ел — обстоятельно и неторопливо... Интересно, что содержалось в той «массе», которую я сейчас с таким наслаждением разжевывал? Я развернул опись и перечитал ее вслух. В конце описи большие, неровные буквы, тщательно выведенные непослушной рукой Матери, промаслились, чернильный карандаш расплылся, потек, но разобрать написанное было можно... Опись заканчивалась словами:

«На здоровье, сынок! Береги себя».

СОДЕРЖАНИЕ

Детство	3
Арест	17
Омчагская долина	20
«Глухарь»	31
Саночки	40

Георгий Степанович ЖЖЕНОВ

ОМЧАГСКАЯ ДОЛИНА

Редактор М. М. Жигалова

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

Сдано в набор 01.06.88. Подписано к печати 29.07.88. А 10382. Формат 70 × 108¹/₃₂.
Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,80.
Усл. кр.-отт. 2,98. Учетно-изд. л. 4,46. Тираж 150 000 экз. Заказ № 2531.
Цена 25 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда», 125865. ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.